

ОТЕЦ

СЕРИЯ «СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ»

Н. ГРИГОРЬЕВ

ОТЕЦ

Документальная повесть
об Илье Николаевиче Ульянове


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва · 1969

37(09)
Г83

Григорьев Николай Федорович

Г83 Отец. Докум. повесть об И. Н. Ульянове. М., Политиздат, 1969 г.

192 с. с илл. (Семья Ульяновых).

Эта книга — плод долгих поисков ленинградского писателя Н. Ф. Григорьева. По крупицам собирал он новое, тщательно анализируя все известное, написанное об отце В. И. Ленина, И. Н. Ульянове. В книге сделана попытка по-новому рассказать об этом незаурядном человеке, замечательном, выдающемся педагоге, воспитателе блестящей плеяды революционеров Ульяновых.

1—6—4
205—69

37(09)+3К26

На обложке портрет И. Н. Ульянова, гравюра на дереве художника *А. И. Калашникова*

Редактор *Н. С. Гудкова*

Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 20 мая 1969 г. Подписано в печать 11 сентября 1969 г. Формат $70 \times 90^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 7,17. Учетно-изд. л. 6,52. Тираж 200 тыс. экз. А 10903. Заказ № 2484. Цена 22 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сборы, сборы... В дневнике Ильи Николаевича Ульянова открыта новая страница: «Симбирск, 1869 год, сентябрь». Новые места, новая должность — и соблазнительная неизвестность впереди... Наконец выехали за город, но тут же, еще и огороды не миновав, ямщик коротким «тпру!» остановил лошадей, спрыгнул с облучка и пошел что-то ладить в головах упряжки.

Илья Николаевич высунулся из кузова. Впору было бы и подосадовать на почтаря: вон еще и до первого полосатого столба не дотянули, а уже задержка в пути! Иной старосветский обыватель — а их немало в здешнем городе,— пожалуй, усмотрел бы в этом недоброе предзнаменование да и отменил бы поездку. Но Илья Николаевич только усмехнулся этой мысли. Однако именно здесь, из захудалости дворянской жизни, под пером Ивана Александровича Гончарова вырос знаменитый «Обломов».

«А ведь он, Илья, мне тезка!» — вдруг обнаружил Илья Николаевич. И хотя в совпа-

дении имен он увидел только курьез, все же явилась потребность мысленно поскрести себя: «А не завалялось ли и в тебе самом чего-нибудь обломовского?»

Полюбопытствовал, что скажет на этот счет жена.

Мария Александровна, озабоченная первой дальней поездкой мужа по губернии, старательно собирала его в дорогу. То и дело хваталась за голову: «Не забыть бы чего-нибудь».

— Бог мой,— отозвалась она на лукавый вопрос мужа, и в красивых ярких глазах ее блеснули искорки смеха,— ну конечно же в тебе полно обломовщины! — И прищурилась, для строгости, и уже всерьез его пожурила: — Чуть в ботинках не уехал — это в октябре-то, в ненастье! Для чего же мы заказывали сапоги?

Илья Николаевич, приспосабливаясь к обнове, переступил с ноги на ногу: на нем были козловые сапоги со скрипом.

Мария Александровна продолжала наставительно:

— И возьми, пожалуйста, с собой вот эти два туеска, только в чемодан их не клади, раздавишь. Я еще с детства, когда мы жили с отцом на Урале, помню, как спасали его в разъездах туесы. Он всегда был со свежей провизией.

— Свежая провизия? — заинтересовался Илья Николаевич, разглядывая туесок.— В чем же тут секрет?.. Ага, понятно: стенки берестяные, а береста — отличный термоизо-

лятор; к тому же здесь она в два слоя... Маша, но каков узор на бересте: нет, ты только полюбуйся этим народным художеством! Откуда у тебя эта прелесть?

— Купила на рынке у чуваша,— пояснила Мария Александровна.— Но, прошу тебя, не отвлекайся. Слушай дальше. Вот тут сливочное масло, колбаса и жареная курица. А в этом молоко. Так и пользуйся туесами, не путай их: у молочного — видишь? — я обметала дужку красной ниткой.

Вслед за туесами отъезжающему были поданы на руки пятилетняя Анечка и трехгодовалый Саша, который, увидев отца в непривычном одеянии, встревожился и принялся плакать.

Прощаясь с детьми, Илья Николаевич замер, потрясенный глубиной охватившего его чувства. А когда разомкнул объятия, у обоих малышей в ручонках оказалось по волоску из его бороды.

— Сувениры! — воскликнул счастливый отец.— Они уже берут сувениры!

Наконец и супруги сделали шаг друг к другу. Мария Александровна положила руки мужу на плечи, затаив волнение, сказала: «Береги себя!» А он бережно снял их и принялся целовать...

Распрощавшись с семьей, Илья Николаевич долго и громогласно прокашливался, стремясь привести в равновесие вышедшие из-под контроля чувства. После этого сразу, с некоторой даже поспешностью, залез в тарантас и скрылся под кожаным верхом.

Тронулись. Илья Николаевич зарылся с ногами в солому и сено, с удовольствием вдохнул крепкий запашок дегтя от свежеподмазанных колес, и мысли его, а следом и чувства понеслись, обгоняя тройку, вперед и вперед на сельские просторы. В памяти ожили строки из бессмертной поэмы: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! И как чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу... Кони мчатся...» «Эх, тройка,— восклицал Ульянов,— птица-тройка! Кто тебя выдумал?..»

А тарантас стоял. Задержались у заставы. В пределах губернского города ямщики были обязаны заглушать колокольцы. Но вот пута снята — и дорожный медный жаворонок обретает голосок.

Ямщик похлопал коренника по шелковистой шее, поправил шлейки на пристяжных и сел в тарантас.

Илья Николаевич с интересом разглядывал его. Это был рослый красавец с рыжей бородой. Сам от природы некрупный, Илья Николаевич ценил в людях стать, силу, здоровье. А этот, что называется, кровь с молоком! И как ловко все сидит на нем: и темно-зеленый, форменного сукна, азям, подпоясанный красным кушаком, и черный картуз с медным гербом почтового ведомства над лакированным козырьком, и форменные шаровары, и сапоги...

«А каковы повадки! — продолжал восхищаться Илья Николаевич ямщиком.— В каждом шаге, в каждом движении — степенность, значительность, даже величие».

Ямщик ловко, одной рукой натянул вожжи и жарко стегнул кнутом по «средствам сообщения». Лошади дружно взяли. Колоколец под дугой завел свой звонкий говорок.

Илья Николаевич еще на остановке попросил откинуть кожаный верх тарантаса, под которым седок как в глубокой нише; чтоб в дороге да ничего не видеть, кроме спины ямщика?..

Сразу словно и день посветлел. Перед глазами распахнулись просторы полей, лесов. В этот ранний час еще лежали туманы, и, как островки среди молочного моря, тут и там виднелись вскарабкавшиеся на возвышенности села и деревни.

Туманы, как известно, к вёдру. Погода и в самом деле разгуливалась. А вот и солнце проглянуло.

Илья Николаевич был в башлыке. Ему стало жарко. «Маша,— мысленно обратился он к жене,— уверяю тебя, не простужусь!» — и, облегчив таким образом себе сердце, откинул башлык за спину.

Завидев катящего на тройке чиновника, на обочине дороги оторопело остановился прохожий. К тощей котомке приторочена пара запасных лаптей, в руке палка: видно, дальняя у него дорога... Лишь на мгновение мужик и чиновник встретились глазами, но Илья

Николаевич успел заметить, что в выражении его лица раболепие и страх — ничего больше.

Прохожий стремительно поклонился, словно готов был сбросить с себя не только шапчонку, но и голову вместе с нею. Илья Николаевич в ответ приветливо снял фуражку, чем вызвал крайнее неодобрение ямщика.

— Всякой шушере да кланяться,— заворчал он.— Мало ли их шатается нынче... Себя не соблюдаете, господин.

— Но почему же? — сказал Илья Николаевич и, с досадой на себя, почувствовал, что краснеет.— Ответить на поклон — долг вежливости...

Ямщик не успокоился. Но в дальнейшие объяснения входить не пожелал. Сказал веско:

— Мы пошта, сударь. Казенная. В подорожной-то у вас что сказано: «По указу его величества государя императора» едем. Понимать надо... Нно-о, баловаться! — И ямщик раскрутил над головой кнут, который просвистел не только над лошадьми, но и над седоком.

Илья Николаевич задумался, и горькая усмешка опечалила его лицо. «Два крестьянина,— размышлял он,— два человека из податного, или, как прежде говаривали, подлого сословия. Оба тянут в жизни подневольную лямку... Казалось бы, возьмитесь за лямку сообща — легче будет! А что на деле? Полный между людьми разлад. Этот, на облучке, набрался презрения к бедняку, да какого

злобного презрения! А у того лишь скотский страх, ни малейшего человеческого достоинства... О, как необходимо народу просвещение! — мысленно воскликнул Илья Николаевич.— В этом убеждаешься снова и снова!»

Он усмехнулся наставлению ямщика о подорожной. Документ этот действительно выдается от имени царствующего монарха и скрепляется подписью губернатора, в канцелярию которого, облачившись в вицмундир, коллежский асессор Ульянов и явился перед отъездом.

Канцелярская процедура оказалась затяжной, но чиновник особых поручений при губернаторе, бойкий и любезный молодой человек, не дал господину инспектору соскучиться. Он говорил, и из его слов, в особенности из изящных манер должно было сделать заключение, что Симбирск — отнюдь не захудалая провинция, какой рисуют его господа писатели, и что господин Ульянов, прибывший из такого крупного города, как Нижний Новгород, найдет и здесь, в Симбирске, пищу для ума и сердца.

Илья Николаевич, слушая болтовню молодого человека, добродушно улыбался, временами вставляя неопределенное: «Да, да, конечно...» Затем, напомнив о деле, высказал намерение поехать в одноконном экипаже.

Чиновник тотчас сделал строгое лицо:

— Нельзя-с. Во-первых, по нашим дорогам, тем более сейчас распутица, одна животина не потянет. Нужна пара. Во-вторых, не осмелюсь вам и пару нарядить. Согласно

вашему чину и должности вам полагается тройка.

— Ну зачем же такая формальность...— пробормотал Илья Николаевич и тут же прикинул вслух: — Две с половиной копейки серебром за лошадь с версты. Тройка встанет втрое. За каждые сто верст, выходит, я должен отдать семь рублей с полтиной — не накладно ли?

Чиновник кинул пренебрежительно:

— Но ведь вы же не из своего кармана. Вам ассигнованы суммы...

— Да, конечно,— сказал Илья Николаевич.— Но, по-моему, казначейская копейка тоже любит счет. Впрочем, я вам своего мнения не навязываю, тем более что вы следуете заведенному порядку.

— Именно! — оживился молодой человек.— Именно! А заведенный порядок — он, знаете, что говорит?

И Ульянов не без интереса узнал, что существует особое правительственное «Расписание», согласно которому почтовые станции обязаны запрягать генерал-фельдмаршалу 20 лошадей; митрополиту, сенатору и полному генералу — 15. Фельдъегерю для гоньбы назначаются курьерские лошади — сколько потребует. Майоры и чиновники восьмого класса...— Тут молодой человек сделал приятную улыбку и вставил: — А вы, господин Ульянов, имеете быть таковым... разъезжают на четверке либо тройке лошадей. Далее...

Илья Николаевич, дивясь этим «лошадиным» рангам, поискал глазами, куда бы сесть.

Чиновник тотчас предложил ему кресло, а сам выхватил из рук писца приготовленную уже подорожную и исчез в кабинете губернатора.

Ждать не пришлось, чиновник обернулся мгновенно.

— Его сиятельство желает вам, господин Ульянов, счастливого пути, а когда воротитесь, рад будет узнать ваше мнение о состоянии школьного дела в губернии. Извольте получить подорожную...

* *
*

Илья Николаевич Ульянов принадлежал к тому слою передового русского общества, в котором отмена крепостного права была воспринята как акт величайшей гуманности монарха. Это были честные, но, увы, наивно верившие в «помазанника божия» люди, совсем не приспособленные к политическому анализу событий. И неудивительно. Ведь даже Николай Гаврилович Чернышевский — гордость и знамя передовой России того времени — не был знаком с произведениями Маркса.

Так или иначе, реформы в 60-х годах следовали одна за другой. Правительство учредило мировой суд, а для крупных правонарушений — суд присяжных по европейскому образцу.

Возникли земские учреждения. К руководству народным образованием была допущена общественность — с этой целью стали

создаваться губернские и уездные училищные советы. Наконец министр народного просвещения «мнением положил», то есть согласился с тем, что постановка школьного дела, и в первую очередь на селе, требует коренного улучшения. Тут же виднейшие педагоги и ученые, деятели просвещения были приглашены разработать проект нового устава массовой народной школы; наиболее радикальные из них, как, например, К. Д. Ушинский, стали мечтать о ликвидации в России неграмотности.

Илья Николаевич Ульянов отнесся к происходившим переменам восторженно. «Где быть теперь учителю, если он считает себя достойным этого высокого призвания? — сказал он себе.— Только в гуще народной!» И осенью 1869 года без колебаний расстался с учительской деятельностью в Нижнем Новгороде, с благоустроенной жизнью в столице поволжских городов.

— Скоро уже доедем,— прервал ямщик полудремоту Ильи Николаевича.— На станции отдохнете, там и комната имеется для проезжающих, и заложат вам свежую тройку!

Илья Николаевич почувствовал, что во рту пересохло. Вспомнил про туески под скамейкой и выбрал тот, что с меткой на дужке. Шапка пены облепила ему усы и бороду, а в рот потекла освежающая прохлада.

«Маша,— сказал он, вволю напившись,— придуманный тобой дорожный напиток чудо как хорош — и даже газированный!»

Притомившиеся за дорогу лошади вдруг побежали весело и резво. Одна из пристяжных порывалась даже удариться вскачь, пока ее не осадил ямщик.

«Ишь припустили, сивки-бурки! — улыбнулся Илья Николаевич, слушая дробный перестук дюжины копыт.— Отдых почуяли, кормушку! Теперь их и понукать не надо!»

Впрочем, он и сам с приближением станции приободрился. Наконец-то можно будет опомниться от дорожной тряски, выколотить из одежды пыль, умыться, сесть за стол и перекусить.

Смеркалось. Видимые горизонты стали сужаться, и на фоне светлого еще неба зачернели телеграфные столбы. Появляясь из темноты, они стремительно тянулись в рост. А поравнявшись с повозкой, показывали на макушке белые чашки изоляторов — и исчезали, будто в тартарары проваливались.

«Телеграфная линия...— мысленно отметил Илья Николаевич.— Эти линии — тоже проводники знаний и света, и хорошо, что начали прочерчивать матушку Русь в разных направлениях... Ба! — вдруг пришла ему на ум веселая догадка.— Ведь в ближайшем же уездном городе, надо полагать, есть телеграфная станция. Подам-ка я депешу друзьям в Нижний Новгород! Как они там? Мол, привет с дороги. Преодолел лужу наподобие миргородской. Пребываю в отличном расположении духа!»

И шестилетняя жизнь Ульянова в Нижнем, еще полная живых отголосков в его душе,

воскресла перед ним. Даже ощущение дороги пропало: словно он уже и не в тарантасе.

Двухэтажное, с бельведером, каменное здание Нижегородской мужской гимназии. Уроки на сегодня уже кончились. Он у директора гимназии, но не в вицмундире. Приглашен не в служебный директорский кабинет, а запросто, по-соседски.

Директор Константин Иванович Садоков и старший учитель Ульянов жили под общей гимназической крышей, в казенных квартирах, и общались не только по службе, но и домами.

— Сядемте, Илья Николаевич...— Директор выглядел озабоченным и даже несколько растерянным. Он наклонился к гостю и мягко взял пальцами его руку у запястья.

— Илья Николаевич! — Садоков заглянул Ульянову в глаза.— Неужели это правда? Вы намерены покинуть Нижний?

Надо было понять огорчение директора гимназии, теряющего учителя, который составлял гордость его учебного заведения. Трудолюбие Ульянова, глубокое и любовное знание предмета и прежде всего педагогический талант выделяли его из учительской среды даже такого крупного города, как Нижний.

В ту пору были обиходны физические наказания в школе. А Ульянов видел в этом пережитки домостроевщины. Еще в Пензе, в дворянском институте, где Илья Николаевич начинал свою учительскую деятельность, он случайно оказался свидетелем того, как слу-

житель распаривает березовые прутья. Старичок объяснил молодому учителю, что розга должна быть гибкой, прикладистой, мол, только тогда она сечет хлестко и дает свою настоящую пользу.

Все возмутилось в Ульянове. Сперва это был протест доброго сердца против избиения детей. Но вскоре он с восхищением прочитал у Добролюбова, что дети «несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут, пока их не довели до этого страхом, они стыдятся всего дурного... сближаются со сверстником, не спрашивая, богат ли он, равен ли им по происхождению...».

Молодой учитель переписал себе тогда в тетрадь целый кусок из статьи «Несколько слов о воспитании», напечатанной в журнале «Современник» за 1857 год.

В классе Ильи Николаевича никогда не было розог, а линейка употреблялась только по прямому назначению — для линования бумаги. Никогда не раздавалось здесь и унизительного окрика: «На колени!»

Между тем познания учеников Ульянова, как в Пензе, так впоследствии и в Нижнем, всегда были твердыми и осмысленными.

Время от времени, как водится, наезжали проверочные комиссии: из округа, из министерства. Инспекторские опросы приводили учеников в трепет и остолбенение — но только не в классах Ульянова. Напротив, ученики Ильи Николаевича, казалось, только и ждали случая, чтобы блеснуть знаниями перед важными и строгими господами.

И блистали. И формуляр Нижегородской гимназии обогащался лестными для учебного заведения отзывами о работе старшего учителя Ульянова.

Директор гимназии со своей стороны старался не оставаться перед ним в долгу.

Явился Илья Николаевич в Нижний Новгород весело и беззаботно. По-студенчески налегке, но с женой.

— А у нас медовый месяц,— сказала хорошенькая, молодая, ничуть не озадаченная тем, что и пристанища-то нет. Высадились с парохода на пристань — а дальше куда?

Будущие сослуживцы Ульянова по гимназии, руководимые женами, тотчас установили, что у новобрачных в их скромном багаже — ни стола, ни стула, ни ящиков с посудой, ни сундуков с мягкими вещами, ни вообще какого бы то ни было домашнего обзаведения.

Дамы всплескивали руками и говорили сочувственно:

— Миленькие, как же вы жить-то будете?

Потом переглянулись между собой и расхохотались:

— Вот интересно!

Начался учебный год. Новый учитель готовился к урокам с примерной тщательностью. В особенности не жалел труда и времени для уроков физики, которые сопровождал постановкой разнообразных опытов.

Однако службой в гимназии Ульянов не удовольствовался. Узнал, что в преподавателе физики нуждаются в женском училище,—

тотчас и там предложил свои услуги. При гимназии открылись земельно-таксаторские курсы — Илья Николаевич вызвался преподавать планиметрию. Пригласили его в Нижегородский дворянский институт — не отказался, пошел воспитателем.

Мария Александровна, встречая мужа вечерами, говорила умоляюще: «Голубчик мой, ты хоть и Илья, но не Муромец! Что ты с собой делаешь?.. Прошу тебя, ограничь службу гимназией».

Но вот у них пошли дети.

С подарками нагрянули Садоковы — директор Константин Иванович с женой Натальей Александровной. Наталья Александровна рада была случаю заглянуть к Ульяновым, которые, на ее взгляд, жили чересчур замкнуто. А в Нижнем такое интересное общество... К тому же молодая Ульянова пришлась очень по душе этой широко образованной и требовательной к людям даме. Обе могли изъясняться по-французски, по-немецки, по-английски. А узнав, что Ульянова к тому же, как и она сама, страстная музыкантша, расцеловала Марию Александровну в обе щеки: «Позвольте, душечка, я буду называть вас просто Мэри. Надеюсь, супруг не приревнует?»

На этот раз, похвалив младенца, Наталья Александровна объявила квартиру Ульяновых решительно непригодной для дальнейшего в ней проживания. Спросила, сколько они платят «за этот курятник» домовладельцу, и ужаснулась цене.

Затем слово перешло к директору. Константин Иванович выдержал многозначительную паузу и возгласил:

— Гимназия, по единодушному мнению педагогического совета, предоставляет вам, господа Ульяновы, казенную квартиру с отоплением и освещением.

— Это вам на зубок, на зубок,— добавила Наталья Александровна, поздравив просиявшего Илью Николаевича и обнимая Марию Александровну.

Для новорожденной, которая крещена была Анной, родители, естественно, отвели самую светлую комнату. Затем Мария Александровна заботливо устроила кабинет мужа. Сама же, чуткая, нежная и вместе с тем на редкость в свои годы практичная, поспевала всюду. Поможет мужу умным советом в его делах, тут же накормит и искупает дочку, простирнет за ней да и обед приготовит.

А когда Илья Николаевич торжественно вручал ей свое жалованье, садилась с карандашом в руке, чтобы рассчитать семейный бюджет. «Тебе бы государственным казначеем быть, Маша!» — говаривал Илья Николаевич, заглядывая к ней в тетрадку. И в самом деле, Мария Александровна умела не только сбалансировать бюджет на бумаге, но — что редко удается даже казначеям государств — и на деле не выходила за установленные рамки расходов.

Еще девочкой она получила серьезную музыкальную подготовку; милый старый «Шредер» и здесь с нею: рояль приносит в новую

ее жизнь дух родительского дома, где она по-деревенски бегала босиком, не балованная, с малолетства приученная отцом-врачом трудиться, уважать и ценить труд других.

Бывало, работает Илья Николаевич. В кабинет донеслись звуки рояля. Тут он тихонько раскрывает дверь настежь. Дела уже отложены. Он откидывается в кресле, закрывает глаза — и на лице его появляется выражение блаженства.

Затихает и дочка. Она уже не требует матери, а, улыбаясь, порывается ловить что-то ручонками, видимо приятные ей звуки, и сосредоточенно пускает пузыри.

Сама квартира, с ее новой мебелью и домашними цветами, казалось, была бы рада обрести человеческую душу — единственно для того, чтобы насладиться льющейся из гостиной музыкой...

Так жили Ульяновы.

Казалось бы, жить да поживать! И вдруг человек по собственной воле поступается всем, чего достиг ценой неимоверного труда и что составляет благополучие его семьи, покой, уют, наконец, его же собственный служебный интерес!

А ведь ему уже под сорок. И в такие годы испытывать судьбу, менять Нижний на заурядный губернский город. Не опрометчиво ли?..

— Я позволил себе,— сказал Садоков, все еще надеясь на силу своих доводов,— извлечь из несгораемого шкафа, чтобы освежить в памяти...— Тут он взял со стола папку; это был

прошнурованный, с выпущенной наружу сургучной печатью послужной список Ульянова.— Позвольте перелистать?

— Вы, Илья Николаевич, службу начали в Пензе. Читаю: «...1858 год, Пензенский дворянский институт». За усердие в преподавании «денежная награда в 150 рублей...» Следующий, 1859 год. Ревизия из Петербурга. В итоге ревизии сенатор Сафонов отметил вас «за отличное ведение своего дела»... В 1862 году институту не повезло. Нагрянул с ревизией Постельс, и, как у него водится, от учебной работы заведения камня на камне не оставил. После него, как после Батыя... Но был там педагог, которого даже Постельс вынужден был похвалить. Не помните такого? — И Садоков поднял лукавый взгляд на Ульянова.

И Ульянов в собственном послужном списке прочитал в самом деле давно забытый отзыв грозы Постельса: «По математике и физике успехи учеников достаточные: преподаватель Ульянов с усердием занимается своим предметом».

— Осталось перечитать поощрения, которыми вы удостоены у нас в гимназии. Или, быть может, они еще свежи в вашей памяти? — закончил директор не без яда.

Потом сказал:

— У нас в гимназии, Илья Николаевич, в непродолжительном времени предвидится вакансия на должность инспектора...— Но посмотрел Ульянову в глаза и безнадежно махнул рукой.

* *
*

Еще в Нижнем, принимая должность инспектора народных училищ, Ульянов спрашивал себя: «А подготовлен ли я, человек городской, к работе в деревне?» И это стало предметом его немалой озабоченности.

Гимназические учителя подтрунивали над коллегой: «Полноте, Илья Николаевич, мудрствовать, какие еще там деревенские проблемы! Вы — многоопытный педагог, да еще удостоенный ученой степени кандидата. И меняете кафедру гимназии на деревенскую школу грамоты — в чем же тут проблема?»

Илья Николаевич отмалчивался и продолжал собирать сведения о Симбирской губернии. Проведал, что хороши тамошние глины: развито горшечное производство, кирпичное, и записал себе в тетрадку, в каких именно уездах следует приобретать кирпич при постройке школьных зданий.

В южной части губернии строительный лес плохой; это он тоже заметил себе. Напротив, бревно и тес отличного качества на севере и в северо-западном углу губернии. Здесь сосна мелкослойная, сто — двести лет простоит в срубе; встречается даже мачтовый лес, который берут волжские корабельщики. И Ульянову подумалось, что, быть может, на мачтах симбирской заготовки развевался мятежный флаг и Разина, и Пугачева.

Во всяком случае, Емельян Иванович поусердствовал на симбирских землях — недаром Пушкин, работая над «Капитанской

дочкой», приезжал в Симбирск, где интересовался архивами, да в его пору можно было встретить здесь еще и живых свидетелей пугачевских дел.

Как-то в майском номере «Журнала министерства просвещения» за 1869 год он наткнулся на отчет о состоянии народных школ, в котором была упомянута и Симбирская губерния. Илья Николаевич тотчас погрузился в исследование. «Неплохо, отнюдь неплохо поставлено дело, куда лучше, чем у соседей!» — радовался он, сопоставляя данные по губерниям.

Однако первоначальное впечатление благополучия тут же стало и рассеиваться... Среди школьников в деревне крайне мало девочек. Илья Николаевич взял это на заметку. А сколько детей в губернии вообще не учится? Молчок.

«Э, господа земцы,— подумал Ульянов,— как же вы руководите школьным делом, вслепую? Но, согласитесь, это не руководство!»

В отчете жалобы на недостаток учителей — и опять-таки без точных сведений. Народные школы не обеспечены учебниками... «Вероятно, так оно и есть,— мысленно согласился с земцами Ульянов.— Однако надо будет проверить, достаточно ли бережливо и целесообразно используются те учебники, что в наличии...» — И он опять сделал себе пометку.

А вот и своеобразие Симбирской губернии. У татар, которые составляют немалый процент населения, оказывается, свои школы,

и только религиозные: в губернии почти 80 медресе! Здесь главенствует Коран, преподавание на арабском.

Земцы сетуют: «Татары не склоняются к открытию училищ для обучения русской грамоте и языку, несмотря на то что в эти училища обещают назначить мулл для преподавания магометанского закона».

Это показалось Ульянову странным. Жить в России — и чураться русского языка! Непонятно: выезжает ли человек на базар, идет ли подать жалобу в присутственное место, судится ли с соседом — без русского не объяснишься! И тем не менее татарин презирает, мало того, ненавидит все русское... В чем дело?

Ответ Илья Николаевич нашел в самом отчете: скандальный ответ! Оказывается, в этой многонациональной губернии вовсю процветает насильственное обрусение!

«Образование» и «обрусение» в отчете приравнены одно к другому. Так и сказано: «Дело народного образования и обрусения...»

— Боже мой, боже мой,— сокрушался Илья Николаевич,— что сказал бы Пушкин, натолкнувшись на такую мерзость! «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой... и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык...» «Назовет! — с гневной иронией воскликнул Илья Николаевич.— Да эти русификаторы своими насилиями только отвращают людей от гения русской культуры!»

А вот и оптимистическое заверение в отчете: «Вообще дело народного образования и обрусения начинает прививаться». Где же это? В какой среде? Что за противоречие?

Оказывается, среди чувашей... Чуваш менее культурен, чем татарин. Он еще в плену наивно-языческих представлений о жизни, о людях, очень доверчив. Вот тут-то деятели обрусения и снимают свою жатву.

Илья Николаевич почувствовал жгучую потребность заступиться за маленький народ, которого хотят лишить своих обычаев, верований, наконец, собственного национального лица!

И стал мысленно прикидывать — что же он, инспектор народных училищ губернии, способен будет сделать, чтобы оградить «всяк сущий язык» от преследования господ русификаторов...

* *
*

Так проходили летние каникулы, последние в Нижнем Новгороде. Илья Николаевич проводил время в библиотеках либо за письменным столом дома. Семья собиралась в Кокушкино.

Мария Александровна тревожилась.

— Ты не знаешь меры в работе,— говорила она мужу,— и я голову теряю — как быть? Уехать, оставив тебя без призора,— а ты переутомишься, еще заболеешь... Но и за детей сердце болит...

Илья Николаевич в знак протеста даже руками замахал:

— Нет уж, поезжай, поезжай — на свежий воздух малышей!

Их было уже трое — Аня, мальчик Саша и годовалая Оленька.

Всей семьей сели на пароход. В Казани Илья Николаевич нанял лошадей, и Мария Александровна с детишками, под звон бубенцов и гортанные выкрики татарина на облучке, покатила за сорок верст в деревню Кокушкино, где обосновался на старости, жительствовал и лечил крестьян ее отец врач Александр Дмитриевич Бланк. А Илья Николаевич вернулся в Нижний, к своим занятиям.

С неизъяснимым наслаждением перечитывал он труды Ушинского, Песталоцци, педагогические сочинения Лобачевского, Пирогова, не говоря уже о Добролюбове, Писареве. Он открывал в них богатства, которых не замечал прежде: в одних случаях из-за вечной — в студенческую пору — нехватки времени да и по молодости лет; в других — из-за трудностей нелегального чтения.

Константин Дмитриевич Ушинский. «Отец русской педагогики». Сам учитель, он досконально исследовал школьное дело в России. Затем отправился за границу и там шаг за шагом изучил все талантливое и передовое, чем жили школы Швейцарии, Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов. Благодаря Ушинскому педагогика как наука в России 60-х годов XIX столетия достигла небывалого расцвета.

К. Д. Ушинский составил два учебника для начальной школы — «Родное слово» (первый и второй год обучения) и «Детский мир». Какой это было находкой для Ульянова! Ведь его собственная педагогическая практика до сих пор складывалась только в области физико-математических наук.

Впрочем, по жадности своей он тут же ухватился и за книжку Фарадея «Химическая история свечи».

Имя знаменитого английского естествоиспытателя было Ульянову хорошо известно. Он даже знал, что у Михаила Фарадея, как и у него самого, был некоторый порок речи. Оба не выговаривали звук «р». Брата Роберта Фарадей называл Вобевт; ну, а у Ильи Николаевича, к примеру, слово «грамматика» звучало: «ггамматика».

Одно из открытий Фарадея позволило человечеству сделать могучий шаг на пути цивилизации: построить динамо-машину.

И вдруг подарок детям — история свечи. Профессор Королевского института в Лондоне на рождественских школьных каникулах экспериментирует со свечой перед детьми и делает это так талантливо, с таким самозабвенным увлечением, что Илья Николаевич «Химическую историю свечи» — по педагогической ценности — поставил в один ряд с «Родным словом» и «Детским миром» Ушинского.

«Однако в какой отсталости мы еще прозябаем!» — подумалось Ульянову. Из предисловия к книжке Фарадея явствовало, что она с триумфом прошла по странам Европы и

Америки, уже многократно переиздавалась. В России же появилась лишь недавно, да и то досталась в руки немногим счастливцам.

Однако упрекнул и себя: Маша знает языки, а за английским, французским или немецким экземпляром дело бы не стало.

Обратившись к сочинениям Песталоцци, Ульянов долго вглядывался в портрет «благородного и бескорыстного филантропа-воспитателя», как назвал швейцарца Добролюбов, высоко ценивший педагогическое творчество Песталоцци.

Иоганн Генрих Песталоцци... Портрет 1811 года, следовательно, великому педагогу здесь 64 года. А на вид и вовсе старик. Испещренное морщинами и морщинками добрейшее лицо, которому особенную теплоту придает мечтательность во взгляде.

Он обивал пороги швейцарских лавочников и ростовщиков, взывая к ним: «Высокоблагородные, высокочтимые господа, благородные друзья человечества и покровители!..» А потом, запутавшись из-за своих школ в долгах, подавленный глухим равнодушием состоятельных сограждан к своему делу, в письмах к друзьям говорил с отчаянием: «Я хочу попасть к какому-либо министру, который был бы человеком... если таковой на земле существует!»

Он умер в нищете.

«Наследие этого великого педагога,— сказал К. Д. Ушинский,— принесло и приносит человечеству больше пользы, чем открытие Америки!»

* *
*

Вспоминая данное жене обещание не переутомляться, Илья Николаевич время от времени прерывал занятия за письменным столом и вставал к токарному станку.

Под действием ножного рычага начинал вращаться маховик. Отвечая его мерному ходу, поскрипывали деревянные стойки и скрепы станка. Шелестел приводной ремень, юлой крутился березовый чурбашек.

Илья Николаевич брал в руки мензель — стамеску с плоским острием или реру — с полукруглым, смотря по надобности.

После того как Илья Николаевич искусно выточил полный набор шахматных фигур, которые побывали уже не в одном жарком сражении местных шахматистов, он мысленно причислил себя к ремесленному цеху токарей. Даже квалификацию себе определил: «Токарь по дереву второй руки». На первую не претендовал, а вторая, считал, как раз — без запроса.

Илья Николаевич работал, как и полагается у станка, в фартуке с нагрудником, а волосы, чтобы не рассыпались, подвязал ремешком.

Стружка не крошилась. Это только у неопытного человека или в неуместной спешке — жжик! — и древесная крошка фонтаном в лицо. Этак недолго и инструментом по лбу... Стружка — что из-под мензеля, что из-под реры — шла тонкая, нитяная; выплетая колечко за колечком, повисала в воздухе

кружевом и беззвучно падала на поддон станка.

Наконец получился игрушечный кувшинчик.

«Это Анечке,— сказал Илья Николаевич, полируя кувшинчик на станке круглой волосяной щеткой.— Саше, само собой, свистульку: самое мальчишеское. А вот чем порадовать нашу Оленьку?..— Илья Николаевич погрузился в весьма серьезные раздумья: перебрал мысленно множество предметов, пока наконец сам над собой не рассмеялся: «Уа, уа, папаша, погремушечка требуется — всего лишь!» Стал перебирать в корзине запас баклашек: чем плотнее древесина, тѐм звонче. Выбрал кусок грушевого дерева и пустил станок...

Презабавная получилась погремушка: разъемная, как матрешка, и с дырочками... Вот-то будет радости!

Ночью — телеграмма. Из Казани: «Оля заболела, скорее приезжай».

Илья Николаевич в первое мгновение ничего не мог понять: «Почему из Казани? Ведь они в Кокушкине?..» Но тут же сообразил, что из деревни не подашь телеграммы — ближайшая телеграфная станция — Казань. «Боже,— весь холодея, подумал он,— что же с девочкой, если за сорок верст скакал конный нарочный, чтобы известить меня?»

Илья Николаевич, схватив погремушку, заметался по квартире, не в силах понять, что же еще требуется в дорогу. Наконец наткнулся на чемодан и накидал туда что попало...

Оленьку он застал уже в гробу. Потрясенный потерей ребенка, даже не заметил, что псаломщик, прервав свое заунывное чтение, вынул у него из рук побрякушку и, осуждающе покачав головой, дал ему зажженную восковую свечу.

Вокруг маленького гроба, теснясь, стояли люди, но он видел лишь огоньки свечей, лиц не узнавал. Только лицо жены временами проглядывало сквозь застилавшие его глаза слезы. Лицо мученицы. Обессилевшая, она не устояла бы на ногах, если бы ее не поддерживали...

Илья Николаевич и Мария Александровна, уже не расставаясь, возвратились с детьми в Нижний. Надо было подготовиться к переезду в Симбирск.

До отъезда оставалось каких-нибудь два месяца. Мария Александровна, как всегда, взяла на себя хозяйственные заботы, а Илья Николаевич спешил использовать богатства книгохранилищ большого города.

Однажды, встав, чтобы размяться, из-за стола, сказал жене:

— Машенька, вспомнился мне постыднейший случай из моей здешней педагогической деятельности. Хочу понять сам себя и стряхнуть скверну с ног, прежде чем вступить на новое поприще!

...А вспомнилось вот что. Был случай, когда он сбежал с работы. Да, да, самым постыдным образом, среди учебного года, бежал из дворянского института.

Что же произошло здесь, в дворянском?

Пенза и Нижний Новгород. Два однотип-

ных дворянских института. Но в одном из них он, Ульянов, успешно проработал восемь лет, а в другом едва продержался немногим более года... Есть над чем поразмыслить!

В Пензе начал в 1855 году после университета, сформировался как учитель, впервые испытал высокое наслаждение лепки своими руками человеческой личности... А «материал» был трудный. Дворянчики, помещичьи сынки. Мальчики чванились происхождением, богатством; в потасовках на переменах только и слышалось — у кого больше армия: понимай — количество крепостных в родительском имении.

— Илья Николаевич, рассудите! — как-то остановили учителя в коридоре два распетушившихся юнца.

Спор, оказывается, зашел из-за носовых платков с фамильными гербами.

В институте его уже приобщили к геральдической премудрости: в короне бывает пять, семь или девять зубцов, смотря по родовитости дворянина.

— Илья Николаевич, я барон, а этот захудалый дворянчик осмеливается равнять меня с собой, говорит, что у меня тоже должно быть пять зубцов,— вопил один.

— А ты что,— и барону был двинут под нос кукиш,— графскую седмицу захотел? На-ка, выкуси!

Схватились драться.

— Мальчики,— сказал Ульянов, разнимая драчунов,— мне непонятен предмет вашего спора. У меня на платках вообще нет

короны, единственное их достоинство, что они, в отличие от ваших, чистые.

И мальчуганы вдруг узнали, что учитель, на уроках которого так интересно, наставник, который не выдаст, а даже позволяет потихоньку с собою дружить, физик и математик, под властью которого самые силы небесные — ветер, солнце и дождь (со стихиями он встречается на вышке метеорологической станции, допуская туда и воспитанников),— что этот замечательный человек вовсе и не дворянин.

Разинув рты, они в испуге глядели на учителя. А Илья Николаевич продолжал говорить о себе. В семье их, Ульяновых, два брата, отец умер рано. Обоим братьям очень хотелось учиться — но на какие деньги? И старший брат принес себя в жертву младшему: похоронил мечту стать образованным человеком, даже своей семьей не обзавелся — не на что, и на всю жизнь превратился в рабочего вола.

Но вот окончена гимназия. Илья Ульянов удостоен серебряной медали. Но тут же, в аттестате, строчка, оскорбительная, как пощечина: «...как происходящему из податного состояния, не предоставляется тем никаких прав для вступления в гражданскую службу». Словом, скажи спасибо, что тебя, мещанского сына, в гимназии терпели; получил аттестат — ну и любуйся им!

А учиться хотелось. Сам директор гимназии хлопотал за талантливого ученика — куда там! В университете вольготно только дворя-

нам — студента ставят на казенный кошт, и никаких ему забот; а ты — происхождения низкого, выкладывай собственные денежки!

Еще крепче впрягся старший брат в воловье ярмо, да и сам новоявленный студент то и дело срывался с лекций, чтобы бежать на поденщину...

Притихшие мальчики молчали. Потом, опустив головы и не смея поднять глаза, спросили:

— А как зовут вашего брата... можно узнать?

— Василий Николаевич.

Переглянулись — и уже смелее:

— А где живет Василий Николаевич?

— В Астрахани, это наш родной город.

— Спасибо! — И мальчуганы, взявшись за руки, помчались прочь.

...Вспоминая с теплым чувством Пензу, Илья Николаевич перечитал некоторые из сохранившихся у него писем. О, бывшие воспитанники не забывают его! «...Остаюсь преданным Вам слугою П. Филатов».

— Филатов! — оживился Илья Николаевич.— Ну как же, делал изрядные успехи в математике! Но жаль, надежд не оправдал. «Любил,— пишет,— математику, пока преподавали ее вы, Илья Николаевич». Пришлось посоветовать Филатову заняться чем-нибудь другим.

Еще письмо. Это, пока попало в Нижний, совершило кружный путь — из Пензы в Астрахань. «Мы очень любим Илью Николаевича и вас тоже, Василий Николаевич!!!»

Целый частокол из восклицательных знаков. Письмо без подписи, но нетрудно было догадаться, что оно от драчунов.

Особенно трогали Илью Николаевича письма воспитанников, которые из шалопаев превратились в достойных уважения людей и помнят своего учителя. «Вы вносили в нашу жизнь честный взгляд и высокие нравственные принципы».

Не успел Ульянов вновь упаковать письма, как с удивительной ясностью понял, почему провалился в Нижнем.

Нельзя забывать основные законы! А основной закон научной педагогики гласит: «Обучение и воспитание нерасторжимо, это единый процесс». А он что сделал в Нижнем? Взял да и нанялся в институт воспитателем: «Дети, этого нельзя! Дети, не нарушайте порядка. Дети, почему вы не слушаетесь, вот я вас!»

Вот и отчужденность, взаимное непонимание, незнакомое прежде чувство собственного бессилия... И — бегство с работы.

Как тут не согласиться с Ушинским:

«Учение есть могущественнейший орган воспитания, и воспитатель, лишенный этого органа, потеряет главнейшее и действительнейшее средство иметь влияние на воспитанников... Бессилие моральных наставлений старших младшим давно уже оценено... Бесконечные моральные проповеди делают негодяев»...

Готовя себя к новой работе, Илья Николаевич прочел и сочинения Пирогова. Участник Севастопольской обороны, смелыми

новшествами за операционным столом положивший начало научной полевой хирургии, Николай Иванович Пирогов был не только прославленным врачом; много сил он отдал делу народного просвещения, и его педагогическое сочинение «Вопросы жизни» получило высокую оценку Добролюбова.

Но Илью Николаевича сейчас привлекло в Пирогове другое: его беспощадная по отношению к себе требовательность. Будучи еще 27-летним начинающим профессором, Пирогов, отбросив всякие соображения карьеры, вытащил на свет свои ошибки в лечении больных, исследовал их и в назидание ученикам своим опубликовал в книге «Клинические анналы».

Ульянов, сам того не сознавая, относился к себе с не меньшей беспощадностью. Отправляясь в деревню, он испытывал глубокую и радостную потребность стать чище, лучше, чем он есть. Именно так бывает с человеком, способным совершить подвиг, на пороге подвига.

* *
*

...Поездка на тройке с красавцем ямщиком окончилась: подорожная не предусматривала заездов с тракта в стороны. Пришлось нанимать обывательские подводы, а то и пешком шагать.

Илья Николаевич побывал в нескольких школах, познакомился с учителями, получил представление о деревенских классных помещениях.

В официальных сведениях о школьной сети, которыми он запасся в Симбирске, между прочим значилось: «Село такое-то. За выбытием учителя и до определения нового с детьми занимается сама владетельница села госпожа фон Гольц».

«Владетельница села». «Девятый год, как отменено крепостное право, а они все еще пишут по старинке!» Однако, инспектор Ульянов отправился к госпоже фон Гольц с самыми лучшими намерениями. Решил посмотреть, как помещица справляется в школе, да и помочь ей. Все-таки с ее стороны любезность — заменять учителя.

Добрался до деревни. Вошел в класс — и от неожиданности замер у порога. Взора не оторвать: перед ним — женщина небесной красоты: златокудрая, огромные голубые глаза... Воздушно-грациозна...

Спохватившись, он подчеркнуто официально назвал себя.

Но что это? Из глаз красавицы вдруг хлынули слезы, она воздела руки к небу, потом протянула навстречу инспектору и бурно заговорила по-французски.

Илья Николаевич в затруднении. Пытается уловить смысл негодующего потока слов. Где-то внутри кольнуло укором: «Ведь учила же Маша французскому — так нет, не нашел времени усовершенствоваться!»

Впрочем, достаточно было взглянуть на детей, чтобы почувствовать: произошло что-то из ряда вон выходящее. За партами — ни одного. Дети сбились в кучу, глаза горят.

Илья Николаевич хлопнул в ладоши и спокойно, с улыбкой приблизился к детям; те доверчиво расступились.

— Дети, кто из вас быстрее, кто ловчее? По счету три садитесь за парты, только не перепутайте места. Ну-ка, погляжу!

Дробный топот сапог вперемежку с шарканьем лаптей — и ребятишки расселись. Тотчас замахали кому-то:

— Фенька... Садись... Сказано же!

Откуда ни возьмись — девочка, таилась где-то. Глядит Илья Николаевич — настолько зареванная, что всего и приметного на лице — красный распухший нос.

Госпожа фон Гольц вмиг прервала стенания — и тонкая холеная рука в кольцах ударила девочку по голове.

— Мадам,— прошептал Илья Николаевич, дрожа от возмущения,— это омерзительно! — И тут же повернулся к классу: — Дети, ваша учительница распускает вас по домам. На сегодня уроки окончены. До свидания.

Госпожа фон Гольц поднесла к носу флакончик с нюхательной солью и умирающим голосом попросила:

— Пошлите за мужем, мне плохо...

— Хорошо, пошлю,— сказал Илья Николаевич.— Но я — инспектор, вы — учительница, и у нас с вами предстоит разговор.

— Это мы сделаем у меня в имении...

— Извините, но школьный разговор я предпочитаю в школе. Впрочем, мне остается выяснить немногое, я вас не задержу.

Илья Николаевич вышел на крыльцо, по-

слал человека за господином фон Гольцем и возвратился в класс.

— Скажите, госпожа фон Гольц, девочка, которую вы едва не оскальпировали, видимо, в чем-то тяжко провинилась?

Ответа не последовало.

Илья Николаевич, помолчав, сказал:

— Ну что ж, пока оставим это в стороне. Обратимся к предмету школьных занятий. Вывешенного расписания уроков я не вижу... Не будете ли вы любезны устно посвятить меня...

Госпожа фон Гольц вдруг взорвалась:

— Нет, это ужас, что происходит... Ужас, ужас! — И кинула перед инспектором на стол скомканную бумажку.

Илья Николаевич прочитал: «Кирюша, я тебя люблю. Давай вместе ходить в школу».

— Девчонке двенадцать лет,— продолжала барынька.— Едва каракулями, как можете убедиться, складывает слова — и уже любовь! Становится страшно, какое в народе падение нравов... И все это после злосчастного девятнадцатого февраля!

Она снова понюхала из флакона, со страдальческим видом закрывая глаза:

— Боже мой, во что превращают мое родовое имение... Школа для крестьянских детей — согласна, пусть будет. Но где послушание, где смирение — в классе какие-то разбойники! Спасибо, вы их угомонили, иначе эти звереныши растерзали бы меня... И за что? — Госпожа фон Гольц всплакнула.— За мои заботы об их нравственности!

Из сетований помещицы Илья Николаевич наконец узнал, что́ произошло в классе. Перехватив безобидную детскую записку, барынька позволила себе грубо оскорбить девочку и мальчика, издевалась над ними, требовала нелепых признаний и настолько поранила души детей, что урок в самом деле едва не завершился омерзительной свалкой.

«Эту госпожу и дня нельзя терпеть в школе»,— мысленно решил Илья Николаевич, когда, звякнув шпорами, в избу вошел крупный мужчина в охотничьей куртке и в ботфортах офицерского образца. Он был статен, породист — а в лице что-то неприятное. И тут Илья Николаевич обнаружил, что глаза вошедшего ничего не выражают: словно под белесыми бровями, среди белесых ресниц пришиты оловянные пуговицы.

Госпожа фон Гольц представила мужчин друг другу. Оба ограничились полупоклоном, не подавая руки.

Помещик тем не менее счел уместным сказать несколько слов:

— Моя жена, господин чиновник, весьма успешно занимается с крестьянскими детьми, не правда ли? Мне эти благородные порывы, признаться, не очень по душе, такое опрощение! Но...— Господин фон Гольц развел руками и ударил себя по голенищу сапога кавалерийским стеком,— ...но женская половина рода человеческого с ума сходит по эмансипации!

Легкий взрыв скрипучего смеха — и господин фон Гольц принялся играть стеком,

подбрасывая его перед собой и выделывая довольно ловко разные жонглерские штучки. Жонглировал, не прерывая речи:

— Моя жена, господин чиновник, решила учительствовать. Никаких посторонних учителей мы в нашей школе видеть не желаем. Но требуется формальное утверждение в должности, не правда ли? Скажите, куда я должен обратиться: к предводителю дворянства? к губернатору?

Илья Николаевич мог бы сказать, что учителей назначает он, как инспектор народных училищ. Но не сказал. Что-то удержало его от продолжения разговора с этими людьми.

С тяжелым сердцем уходил он от «владетельницы села».

* *
*

Приехал в другую деревню. Здесь по документам значилась школа. А школы нет. Илья Николаевич, смеясь, сказал словами Некрасова:

Кузьминское богатое,
А пуще того — грязное
Торговое село...

И следом:

Дом с надписью: училище,
Пустой, забитый наглухо...

Школа обнаружилась только в соседнем селе, при церкви. Сторож снял висячий замок, толкнул дверь. Илья Николаевич ока-

зался среди сырых каменных стен. Сразу у порога — ларь с каким-то хламом, тут же — лопаты, метлы. Подальше, в углу,— крест, приготовленный для могилы... И на всем этом — тусклый свет из забранного решеткой окошка под потолком.

Церковная караулка... Но при чем тут школа? Однако в караулке — классная доска, столы для занятий, при них лавки, на потолке висячая керосиновая лампа...

Илья Николаевич долго стоял молча. Потом обернулся к сторожу, сказал хмуро:

— Надо проветривать помещение, здесь собираются дети!

— Ась? — отозвался сторож, не сразу поняв, что от него требует приезжий господин. Потом сказал равнодушно: — С середы не собираются.

Еще того не легче: со среды, а нынче уже пятница! Оказывается, учительствует здесь священник. Но подошли требы — он и уехал по приходу.

— В воскресенье к обедне воротится,— пояснил сторож.— Службу служить.

Илья Николаевич уважал пастырский труд священнослужителей и в требах видел акт гуманности: отпустить грехи умирающему, утешить болящего, укрепить в вере заблудшего — как же без этого? Но требы требами, а срывать занятия в школе непозволительно!

Поехал в волостное правление.

Волостной старшина, средних лет упитанный мужчина, как видно, был уже оповещен

о появившемся из губернии чиновнике. В присутственную комнату вышел при регалии — с цепью на шее.

Илья Николаевич подал руку. В ответ — подобострастное выражение лица и бережное, как к хрупкому сосуду, прикосновение к инспекторской руке толстых, коротких пальцев.

Сели.

Илья Николаевич выразил сожаление, что школа уже несколько дней бездействует.

— Это, господин старшина, нетерпимо. Дети должны обучаться в нормальных условиях. Согласны? В таком случае подскажите, что предпринять. Вы местный человек, и ваш совет был бы полезен. Напоминаю вам, что вы, господин старшина, как представитель государственной власти, несете личную ответственность за состояние школьного дела во вверенной вам волости.

Глаза старшины загорелись злым огоньком.

— Да что я... Ежели отец Серафим...— И он принялся сваливать всю вину на священника.

— Я просил бы собрать школьников,— перебил его излияния инспектор,— несколько мальчиков и девочек. Возможно это?

Старшина вскочил.

— Это мы в сей момент. Соцкой!

Отправил сотского за школьниками и сам взялся за шапку.

— А вы, господин старшина, мне не помешаете. Отнюдь. Дело у нас с вами общее.

И Илья Николаевич кратко ознакомил собеседника с правительственными узаконениями, направленными на улучшение школьного дела.

Старшина сидел с покорным видом:

— Это мы тоже можем понять.

— В таком случае... простите, как ваше имя-отчество? Герасим Матвеевич? Очень приятно. А мое — Илья Николаевич... Так вот что, Герасим Матвеевич, надо обзаводиться нам в селе приличной школой. Я, как инспектор, располагаю средствами, чтобы купить для школы дом. Желательна изба-пятистенка, чтобы при школе было и жилье для учителя. Плохого дома не возьму: помещения должны быть чистыми, светлыми, теплыми... Что вы на это скажете? Найдется продавец? Ведь село ваше не маленькое?

Старшина поскреб в затылке, процедил жарко:

— Тестя бы надо прошшупать, дак ведь...

Вскочил, забегал по комнате. Вгорячах даже постороннего перестал стесняться, развивая мысль о том, как он поживится за счет тестя: старика — за порог, а избу его, пятистенку,— на торги!

Он и на чиновника поглядывал уже без всякого уважения. Мол, в тебе и виду-то никакого, никакой солидности. И не такие из губернии налетали — да отскакивали!

Илья Николаевич под этими взглядами только поеживался. «Сожрет,— подтрунивал он над собой,— и не будет на свете инспек-

тора, только фуражка останется, козловые сапоги да пара туесков... Заодно с тестем сожрет. Бррр... Это же людоед. Людоед на воеводстве!»

Между тем в комнату вошли дети.

Старшина — мигом за дверь. Илья Николаевич только усмехнулся ему вслед: «Ну, теперь этому деятелю не до школьных дел! Побежал тестя обкручивать...»

Усадив детишек на скамью, Илья Николаевич достал камертон и ударил пальцем по его вилочке.

— До-о-о...— поддержал он голосом звучащий металл. Поднес вилочку к уху мальчика, девочки, опять мальчика.— До-о-о, до-о-о...— требовательно повторял он, пока и у детишек губы не раскрылись.

Но лишь один из пятерых не сфальшивил. Илья Николаевич одобрительно кивнул мальчику, тотчас провел его по дорожке звуков: вверх — вниз. Мальчик одолел почти полную октаву.

Илья Николаевич записал фамилию мальчика с пометкой: «Хор. слух». Однако на отца Серафима рассердился. Как же так, чтобы священник, у кого вся служба из песнопений, не удосужился хотя бы слух развить у школьников!

Илья Николаевич любил пение. Был у него и голос — небольшой, но приятного тембра. Мария Александровна заметила, что особенно удаются ему песни задушевные, лирические, это и учла, составляя с мужем домашний дуэт.

Был он поборником певческой культуры. Не без его участия сложился хор воспитанников в Пензенском дворянском институте; приохотил он к пению и многих гимназистов в Нижнем Новгороде.

А в должность инспектора народных училищ вступил уже с целой программой развития школьных хоров. Основы ее взял у корифеев педагогической науки, которую только что заново проштудировал.

Для малышей песенка в классе, как глоток свежего воздуха среди трудного урока. Для более взрослых ребят — это уже и приобщение к искусству; а искусство со своей стороны облагораживает характер. Особенно важно, полагал Ульянов, чтобы музыкально грамотной вырастала деревенская детвора: кто же, как не крестьянин — не только слухом, но душой,— воспримет, сохранит и приумножит бесценные сокровища песенного творчества народа?..

Илья Николаевич убрал камертон и дал детям учебник Ушинского «Детский мир».

— Раскройте на сорок третьей странице.

Дети запутались в поисках — пришлось прийти им на помощь.

— А теперь послушаем басню Крылова «Петух и жемчужное зерно».— И Илья Николаевич протянул книжку мальчику, что выделился на пении: — Читай, Федя Сорокин. Читай громко и не торопясь.

И тут... уму непостижимо, что тут началось! Словно камней насовали в рот мальчику, лишив его способности к членораздельной речи:

— На... на... ной, нуй, ный... на-во-во... вай, вей, вой... наво-за, зой, зуй...

Илья Николаевич, мучаясь вместе с мальчиком, в то же время поспешно копался в памяти: «Откуда эта абракадабра? Что-то знакомое... Неужели Твелькмейер?.. Да, несомненно, зазубрено с таблиц Твелькмейера... Но это же старая рухлядь — кто бы мог подумать, что ею еще пользуются!»

Мальчик покраснел от усилий, ошалел, но так и не смог, хотя бы по складам, прочесть слово из басни:

«Навозну...»

— Довольно, Федя, отдышись. А теперь смотри внимательно в книжку и повторяй за мной:

— «Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно...» «Навозну» — разве непонятно? — Илья Николаевич встал и подошел к окну.— Да вон же навозна куча! Посмотрите, дети. Навозна. Навозная. Вот на кучу и вскочил петух — разве не бывает?

— Ага, бывает,— согласились дети. А повеселевший Федя Сорокин добавил: — Мы и сами вскакиваем на кучи — как петушки!

В заключение урока дети хором выучили басню наизусть.

Из летучей проверки знаний школьников, по существу, получился урок — непринужденный урок-беседа, какие и следует ставить в начальной школе.

Но ведь это же дело учителя, а не инспектора?! А где они, учителя?

При мысли о мадам фон Гольц Илья Ни-

колаевич с гневом сказал себе: «Отстранить! И я это сделаю сразу по возвращении в Симбирск!» А отец Серафим? И поставил в книжечке знак вопроса.

* *
*

И еще в одной школе побывал Ульянов. Учителя он застал дома, за утренним самоваром. Познакомились. Илья Николаевич был приятно удивлен, услышав, что его новый знакомец в недавнем прошлом преподавал словесность.

— Простите, вы кончали в университете? Не в Казанском ли?

— Никак нет. Кончал в учебной команде. Девятого драгунского Елизаветградского ее величества королевы Вюртембергской полка старший унтер-офицер! — И драгун, залпом допив чай, выскочил из-за стола. Встал во фрунт. Подкрутил усы — да как пошел отбивать скороговоркой:

— Царствующий дом: божиею милостью его величество государь император Александр Вторый Николаевич, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая; августейшая супруга его, ее величество государыня императрица Мария Федоровна; августейший сын их, его императорское высочество наследник цесаревич Александр Александрович; августейшие...

— Минуточку! — прервал Илья Николаевич; в ушах звенело, хотелось передохнуть.—

Скажите, значит, это и есть словесность для солдат?

— Так точно. Только еще не вся. Это малый титул. А есть еще полный. Тоже могу.

— Спасибо, не беспокойтесь,— сказал Ульянов.— Я уже понял вас. Но хочу, чтобы и вы меня поняли: то, что здорово солдату, детям не всегда по зубам.

— Верно! — Драгун развел руками.— Как это вы угадали? Верно. Пробовал. Словесность детишкам не по зубам!

Отправились в классы. «Вот уже третья школа,— меланхолически подумал Ульянов,— и все та же картина беспризорности и запустения... Жутко становится!»

Ничего путного от драгуна он, разумеется, не ожидал. И вдруг приятное открытие... Наблюдая его в классе, Илья Николаевич разглядел в солдате первейшее свойство, которое требуется от школьного учителя: драгун любил и понимал детей.

— Здравия желаю, господин учитель! — дружно вскочив, ответили школьники на приветствие драгуна. Дежурный по классу выкрикнул несколько слов рапорта.

Илья Николаевич тем временем неприметно устроился на задней парте. Начало урока было необычным, но ему понравилось: четкость, организованность.

— Вольно-а-а!..

Выполняя воинскую команду, ребята сели с нарочитым грохотом.

— Первый урок — арихметика! — объявил драгун и кинул на учительский стол

солдатскую бескозырку — старенькую, с лиловым околышем — видимо, элемент формы этого диковинного русско-немецкого полка. В бескозырку насыпал орехов.

— Упражнения в умственном счете... Начи-най!

Ученики смело вскинули руки. Каждому не терпелось выйти первым к столу.

Вызвав ученика, драгун дал задачку на сложение в пределах десятка, потом двух десятков. Мальчик, запуская руку в бескозырку, выкладывал из орехов слагаемые и объявлял сумму.

Со словами: «А дайте мне задачку на три десятка» — полез было опять за орехами, но драгун заслонил бескозырку, а мальчугану погрозил пальцем:

— Этак ты у меня весь боеприпас утащишь!

Ребятишки, сидевшие за партами, рассмеялись, а некоторые из них после этого и ртов не закрывали: как видно, ожидали дальнейшей потехи.

Но мальчик у стола уже решал задачку на вычитание. Соображал бойко, и драгун в поощрение разрешил ему из двадцати вычесть единицу.

Разность из девятнадцати орехов мальчуган ссыпал себе за пазуху.

— Хватит тебе,— отправил его драгун на место.— А то ишь, на три десятка позарился!

— На двадцать девять,— деловито поправил его мальчик.

Счет на орехи наглядный, ошибиться было трудно, а тут еще придуманное драгуном поощрение... На переменке весь класс щелкал орехи.

Дети принялись угощать и гостя.

— Да я же не решал с вами задачи,— смеялся Илья Николаевич.

— А вы возьмите да решите!

— Хорошо, дети, согласен!

И после перемены, объявив на всякий случай, что премии не отменяются, предложил орехи рисовать мелом на доске.

Ребята охотно подхватили новшество. Сперва выводили на доске кружки-орехи, потом для упрощения стали заменять их точками; из точек Илья Николаевич вытянул вертикальные палочки, дав детям понятие о римских цифрах.

Но среди ребят нашлись и такие, что сумели написать цифры общепринятые.

На первый случай, считал Илья Николаевич, достаточно: возбудил у детей интерес к доске и мелку, а драгуну подсказал, как действовать дальше, раз от раза усложняя урок.

С этим и хотел уехать. Но драгун схватил Илью Николаевича за руки — и ни в какую: мол, не выпущу ни за что, пока не досидите все уроки! А у самого от огорчения губы дрожат...

Пришлось остаться.

После большой перемены вошли в класс — а его и не узнать: полно посторонних! Школа мужская — а тут появились девочки, даже девушки. Выстроились вдоль стен.

Драгун ловко подал инспектору свой учительский табурет, пронеся его над головами, и Илья Николаевич сел, с любопытством ожидая, что будет дальше.

Драгун вышел на середину комнаты. Потеснил от себя собравшихся, расставляя их в ряды, яростно взмахнул рукой — и грянул хор:

Взвейтесь, соколы, орла-ами,
Полно горе горева-ать!

В свободной руке драгуна блеснула кавалерийская труба — и в хор, подкрепляя мелодию, вплелся голос меди.

То ли де-ело под шатра-ами
В поле ла-агерем стоять!

Дирижер подал знак своим мальчишкам. В ответ — рефрен с заливистым посвистом:

В поле ла, в поле ла-агерем стоять!

Лица поющих — и детей, и взрослых, парней и девушек — раскраснелись. Пели самозабвенно, с неожиданными для самих исполнителей вариациями, и это расширяло мелодию, обогащая ее новыми красками.

Илья Николаевич слушал хор все с большим интересом. Сначала раздражала труба, но и ее острый, открытый звук нашел свое место: песня-то солдатская, требует в исполнении молний и громов, многоголосия, лихости!

Только сев в подводу, Илья Николаевич почувствовал, как он устал от драгуна. Но

это была добрая усталость. Покорил его солдат — и сердечностью в обращении с детьми, и своим хором; это уже не только школьный хор — под его медного дирижера, как видно, вся молодежь деревни запела!

Очень хотелось Илье Николаевичу сохранить в школе драгуна. Но ведь неуч — какой же это учитель? Честно признался инспектору, что обучать грамоте не может: попробовал, мол, да испугался путаницы, которую занес в головы ребят. Вот незадача... Хоть сам садись за его подготовку!

Раздумывая на обратной дороге о предстоящих делах, Илья Николаевич все явственнее ощущал: в деятельности инспектора народных училищ границ установить невозможно.

* *
*

Он чувствовал сквозь сон, что его будят, и не мог проснуться.

— А может, они нездоровы...— услышал он над собой голос женщины и жалостливый вздох.— Пешком пришли. Уже ночь за полночь. Потребовал воды согреть — а сам моется и спит, моется и спит... Не надо бы его беспокоить-то...

Не размыкая глаз, Ульянов узнал в сердобольной женщине жену смотрителя почтовой станции.

Хотел было повернуться на другой бок, но услышал мужской голос. Кто-то сунулся к нему в дверь номера:

— Что же ты, Агафьюшка? Я жду. Буди, буди, и пусть сразу выходит в зал.

Поднялся Илья Николаевич, глядит — и часам не верит: уже время обедать!

Зал на почтовой станции был предназначен для остановки и кратковременного отдыха проезжающих: от лошадей до лошадей. Здесь же можно было распаковать дорожный припас, заказать самовар, присесть к столу. Для прислуги господ проезжающих и очередных ямщиков за стеной была черная половина. Там же, возле русской печи, хозяйствовала женщина, готовя для мужиков изо дня в день щи, а для господ — кто пожелает — яичницу или топленое молоко. Она же мыла полы и вообще убирала оба помещения.

Илья Николаевич почувствовал, что аппетит разыгрывается не на шутку, и решил заказать миску ямщицких щей: жирные, и в них хороший кусок мяса.

Надел форменный сюртук — синий с белыми пуговицами. Старенький уже: сшит и ношен еще в Нижнем, теперь, в дороге, только и донашивать.

В зале, с его неопрятным диваном, просиженным до пружин, с башнею часов, из которой слышались тяжкие хрипы механизма, с рамками казенных объявлений по стенам, в этот обеденный час было как-то особенно сумрачно; казалось, и окна уже не пропускают света — слезятся и слезятся от зарядившего с ночи октябрьского дождя...

И вдруг — живая душа. Ему навстречу с приятнейшей улыбкой устремился какой-то

господин. Илья Николаевич поклонился, тут же догадавшись, что это тот, кто посылал смотрительшу будить его. Илья Николаевич и сам обрадовался незнакомцу: «Куда деваться в такой вечер? Славно, если это партнер в шахматы!»

А незнакомец — шумный да напористый какой!

— Не спрашиваю, милостивый государь, не допытываюсь, кто вы таков. Ваш сюртук — уже визитная карточка: изволите служить по министерству народного просвещения? Впрочем, не скрою, здешний почтовый смотритель уже осведомил меня, что вы, Илья Николаевич, назначены к нам в губернию на весьма важный пост. Инспекция! Это именно то, чего недостает нынешней системе народных школ: инспекция, строгость и призор!.. Но, прошу прощения, я еще не представился: мировой судья, отчасти помещик и отчасти литератор, бытописатель местных нравов... словом, всего понемногу! — Он рассмеялся и крепко пожал руку Ульянову.— Назарьев Валериан Никанорович,— назвал он себя.

Илья Николаевич не заметил, как зажгли в комнате лампу, но обрадовался свету: стало уютнее... Однако что это: свет лампы словно чудо сотворил! Стол для приезжающих — измызганный, с пятнами от горячей посуды и прочими следами поспешных и многочисленных трапез — исчез. Вместо него скатерть, салфетки... Как из белоснежного сугроба выглядывают фарфор, хрусталь, графины и всяческие яства.

Илья Николаевич деликатно отвернулся: «Мало ли кто здесь пирует!» — и вспомнил про свои щи. Но Назарьев опять преградил ему дорогу — и с поклоном:

— Окажите, Илья Николаевич, честь... Скромнейшая трапеза, ничего сверхординарного! Попросту, как человек, искушенный в местных порядках, я предусмотрел обед — всего лишь... Окажите честь!

— Нет уж, увольте...— Ульянов недовольно поморщился. С какой стати он будет угощаться за счет первого встречного? Расходы пополам? Но и это его не устраивает — он не привык обременять себя подобными обедами.

Но Назарьев еще ниже склонился в почтительном поклоне:

— Окажите честь... окажите честь...

«Это уже не приглашение,— подумал Ульянов с досадой.— Он вымогает у меня согласие!»

И тут же — лукавая мысль: «А почему бы и не выпить?..» От пробной поездки по школам — серый камень на сердце. Хоть бы на несколько мгновений забыть крепостников фон Гольцев, и забулдыгу попа, бесстыдно забирающего себе жалованье учителя, и властелина сельских мест, с государственным гербом на шейной цепи и повадками разбойника... Захотелось Илье Николаевичу теплоты, человеческого сочувствия...

Чокнулись. Илья Николаевич храбро выпил — да и замер от неожиданности: в голову ударила волна горячего тумана...

— А вы огурчиком... или вот — грибочком,— захлопотал, направляя его вилку, Назарьев.— Закусывайте, закусывайте!

Тут и грибочек сгодился, и огурчик, и астраханской селедочки бочок.

— Еще по одной? — вкрадчиво улыбнулся Назарьев, выбирая графин.

Илья Николаевич отказался. Назарьев не настаивал, но и сам не стал пить.

Беседа сразу приобрела полемический характер. Горячились оба.

— Итак, каждую деревенскую школу вы намереваетесь посетить и обследовать?..— Назарьев от удивления перестал есть. Потом вдруг расхохотался: — Да вы шутите, Илья Николаевич! Ведь школ-то в губернии с лишком четыре сотни. Этак вы все крестьянские подводы у нас перебьете!

Илья Николаевич и сам рассмеялся. Ничего! Объезд губернии он предпримет, когда установится санный путь.

— Надежда на деда-мороза?..— Назарьев скептически усмехнулся.— Ах вы, горожанин, горожанин... Да представляете ли вы себе наши пространства? Вот если бы вы были Александром Македонским да двинули бы свои легионы по всем направлениям — другое дело!

Ульянов не принял шутки.

— При чем тут Александр Македонский? — И сказал наставительно: — Послушать вас — так инспектору хоть за дело не берись! Но заботы о школах ведь не только

на мне. Есть у них хозяин — молодой, полный свежих, неизрасходованных сил. Я имею в виду вновь учрежденное земство. Далее — училищные советы...

— Препочтеннейшая общественная организация! — язвительно заметил Назарьев.— Я сам член оной. И да простит меня великий англичанин за заимствование, но хочется сказать: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть об училищном совете...» Впрочем, пора обратиться к ухе. Несут, несут...— Назарьев вскочил, спеша раздвинуть посуду на столе.

Встал и Ульянов, готовый помочь смотрительше с ее ношей.

Приодетая, с застенчивой и одновременно сияющей улыбкой — так улыбаются все женщины в мире, умеющие вкусно готовить и ожидающие заслуженной похвалы,— смотрительша поставила супник на стол и с поклоном отступила на шаг, сложив руки под фартуком.

— Кушайте, пожалуйста.

Назарьев снял крышку с фарфоровой посудины, сунул нос в клубы пара и блаженно зажмурился:

— Не уха, а нектар... божественно! — Он передал крышку хозяйке.— Агафьюшка! Ни у нас в губернии, ни в Москве, ни в самом Петербурге никто так не приготовит стерляжьей ухи... Рюмочку водки!

Агафьюшка, молодая, но несколько уже расплывшаяся женщина, принимая рюмку, сложила губы сердечком. И в это сердечко, не

нарушая его рисунка, ухитрилась ловко всосать горячительную влагу.

Еще раз поклонилась гостям — и легко, как на крыльях, выпорхнула из зала.

— К достоинствам нашей губернии,— заговорил Назарьев, разливая уху по тарелкам,— отношу стерлядь. Есть у нас река Сура, едва ли вы и слыхали о такой.

А Ульянов в ответ мало того, что охарактеризовал Суру географически; он рассказал о судоходстве, которое развивается на этой второй, после Волги, крупной реке в губернии; о сплаве леса, в котором наряду с бурлачеством находят заработок крестьяне прибрежных селений; перечислил перевозимые по Суре товары; упомянул об оживленных базарах возле пристаней...

— Да откуда вы все это знаете? — изумился Назарьев.— Вы, оказывается, бывали на Суре?

— Пока нет. Но ведь существует краеведческая литература.

Помещику-литератору оставалось только руками развести.

— Но позвольте закончить. Сурская стерлядь, дорогой Илья Николаевич,— это же дар богов! На вид и рыбка-то недородная, помельче волжской, а ее непрестанно требуют от нас «Медведь», «Донон» — лучшие трактиры Петербурга, «Славянский базар» в Москве. А как ее хитро доставляют... Но об этом в другой раз...

Илья Николаевич ждал продолжения разговора о школах.

Перешли на диван.

— Ну что ж...— Назарьев отпил из чашечки кофе.— Вам, как инспектору, ведь не слухи, не сплетни нужны, а нечто достоверное. Поэтому расскажу о своем уездном и отчасти о нашем губернском училищных советах, в которых непосредственно участвую... Главная наша беда: учреждения новые, а свихнулись на путь дореформенных: с внешней стороны — плодотворнейшая деятельность, а копнуть поглубже — мертвый формализм. Журнал заседаний в образцовом порядке, на каждую поступившую бумагу наложена резолюция, а последствий никаких: бумаги лишь аккуратно подшиваются к делу...

И Назарьев рассказал, что из-за полной бездеятельности совета к концу года накапливаются неизрасходованные суммы. От них только беспокойство. Обнаружит ревизия — будет неприятность.

Значит, деньги надо сбыть с рук. И это не составляет труда: в канцелярию уже летят прошения и ходатайства. Вот некий священник уследил, что школе выписаны хозяйственные суммы, но движения не получили. Священник изобретает документ, оный приобщается к годовому отчету совета, а школьные денежки попадают в карман «святого отца». Вот другая просьба: попадья жалуется на бездоходность прихода своего супруга, на то, что и одеться прилично нет возможности; прихожане над духовным своим пастырем насмехаются, а это может повести к опасному подрыву веры... И училищный совет поста-

новляет: «Выдать вспомоществование...» Вот рапорт сельского писаря; он кратковременно заменял в школе местного учителя и покорнейше просит сверх платы, которую он уже получил, поощрить его новогодней наградой. Вот какой-то ловкач, нюхом чувствующий, где можно поживиться, поспешает с посланием, в котором расписал свою деятельность на ниве народного просвещения; и в училищном совете делают вид, что верят этим небылицам.

— «За рвение», «за усердие», «в поощрение трудов»...— только и успевают здесь под новый год накладывать резолюции, и у окошечка кассы звенит серебро, шелестят раздаваемые кому попало ассигнации...

Ульянов слушал все это, слушал, ерзал на диване, досадливо теребил себя за усы и бороду, наконец не выдержал и остановил рассказчика:

— Валериан Никанорович, но вы-то, вы же член училищного совета! Где ваш протест против расхищения общественных сумм? Простите, но рассказ вы ведете в столь эпическом тоне...

Назарьев быстро взглянул на Ульянова. Замечание ему не понравилось. Не сразу нашелся что ответить на вопрос, поставленный ребром.

— Когда вы, как инспектор, будете листать журналы училищных советов, надеюсь, не упустите обнаружить, что я, член совета Назарьев, в подобных случаях всегда высказывал особое мнение.

— Очень приятно слышать. Но скажите, Валериан Никанорович, ваше особое мнение спасло ли хоть копейку для истинно школьных нужд?

Назарьев промолчал.

— Однако вы ведь еще и судья! — напомнил Ульянов.— В вашей власти преградить путь беззакониям...

— Э, полноте,— отмахнулся Назарьев.— Судья, да с ограничительной приставкой: «Мировой». Моих полномочий хватает лишь на то, чтобы мирить подравшихся пьяных мужиков. А действительные беззакония в компетенции судов присяжных...

Внезапно Назарьев заторопился уезжать.

— Очень рад, Илья Николаевич, с вами познакомиться. И признаюсь, вижу в вас мессию. Мы-то, местные обыватели, притерпелись ко всему. Вы же — человек новый в наших местах, полны высоких намерений. И верю, верю, что именно вы выведете наши училищные советы из состояния летаргии, а школьное дело в губернии поведете к расцвету!

«Ловок ты, однако,— подумал Ульянов.— Член совета, притом в курсе дел, а польстил — да и в сторону! Мол, ты чиновник, тебе и батрачить. Чего же стоят все ваши сочувствия, господин Назарьев?»

— Э, довольно о делах! — И помещик стал облачаться в дорожную крылатку.— Я вам, Илья Николаевич, своих башкирцев покажу — залюбуетесь! Кстати, если вам в

город, милости прошу ко мне в коляску. Рессорная, мягкий ход.

— Спасибо, Валериан Никанорович, но я еще задержусь.

— В таком случае посмотрите моих зверюг!

На крыльце уже стояли, провожая гостя, смотритель с женой.

Ульянов не был сведущ в лошадях. Но башкирцы привели его в восхищение. Крепыши, небольшого роста, все три как на подбор, рыжевато-бурые, с шелковыми гривами и хвостами. Роют копытами землю, грызут удила, разбрасывая хлопья пены. Так и чудится: только вожжи отпусти — взовьются над слякотной дорогой, помчат по воздуху, как коньки-горбунки...

Назарьев сиял. Сияющим и отбыл...



Наутро Ульянов встал рано. День занимался погожий, подсохло. «А не прогуляться ли в какое-нибудь близлежащее сельцо? — пришло Ульянову на мысль.— Пешочком? Это же одно удовольствие. Похоже, что и солнышко выглянет!»

После всех удручающих впечатлений поездки очень ему захотелось солнышка... Да и с крестьянами-то ведь он, по существу, еще не встречался. В Симбирской губернии не менее миллиона крестьян. Выйдя из рабского состояния, крестьянин, несомненно, потянулся к знаниям, к свету, входит в понятия новой

жизни. Вот для кого он, Ульянов, здесь. Вот кому будет служить он, инспектор народных училищ!

В полях после уборки хлебов голо и пустынно. Но вот пригрело солнце — и торчащая повсюду мелким ежиком стерня затуманилась от пара. У Ильи Николаевича сразу хозяйственная мысль: «Химики взялись за дело — сырость и тепло: живо переработают остатки от снятого урожая в удобрение для следующего! Великий круговорот жизни...»

Порой он снимал фуражку, подставляя голову мягкому, струившемуся над землей теплу: «Благодать!»

Вдали на пригорке, среди деревьев, уже потерявших листву, показались строения довольно большого поселка. На передний край выступило богатой постройки здание под красной железной крышей. Яркая, как мухомор, крыша, казалось, чванливо главенствовала над россыпью жалких соломенных кровель.

Ульянов остановился. Внезапная догадка неприятно поразила его: «Неужели удельная?»

Знакомясь в Нижнем с различной педагогической литературой, Илья Николавич читал и о школах, которые принадлежали не министерству просвещения, а ведомству уделов. Уделы — это поместья, составлявшие собственность царской семьи и разбросанные по всей России. Поместья были столь обширны, что для них понадобился не управляющий, а целое ведомство управляющих. Ведомство

уделов обзавелось и школами, в них по особой программе готовили для царских угодий обслуживающий персонал.

Держали учеников в школе семь лет (это называлось «пройти курс семи столов»). Но это отнюдь не значило, что крестьянский мальчик, обычно силком загнанный в школу, получал солидное образование.

Рутина и зубрежка. Строго изгонялись всякие книги для чтения. Полагалось читать лишь псалтырь, часовник да «пособие для усовершенствования в нравственности». Наизусть разучивались нелепые схоластические диалоги.

Побои, издевательства. Рассказывалось, к примеру, об учителе, который за провинность ставил мальчика на четвереньки и ездил на нем верхом по классу; случалось, переламывал ребенку позвоночник — но цыц, посмей-ка кто-нибудь донести на всевластного учителя!

Пройдя «семь столов» школы, смышленые мальчики (а иных не брали) превращались в лицемеров или в безответных идиотов...

Да, так было! И Ульянов очнулся, как от дурного сна. «Великая реформа 19 февраля,— подумал он торжествующе,— покончила и с этими ужасами...» И он уже по-иному, с чувством доброй хозяйственной заботливости, взглянул на здание под яркой железной крышей: теперь это земская школа под его, инспектора, опекой.

Наконец он в селе. Да, постройка на зависть! Вон даже обшивку пустили по срубу;

не пожалели денег и на масляную окраску всего здания!

«Этакой красоты в новых земских школах, конечно, не достичь,— размышлял Ульянов.— Сметы не позволят. Но зато обойдемся и без тюремных решеток на окнах!»

Захотелось Ульянову посмотреть и на внутреннюю планировку школьных помещений: взять и там поучительное. Глядит, а на месте крыльца полусгнившие ступеньки. Да и дверь заколочена, как перечеркнута досками, крест-накрест.

Илья Николаевич собрал крестьян. Но говорить ему не дали.

Кто-то, таясь за спинами других, истошно выкрикнул:

— Это што ж, знатца, обратно поворачиваешь на уделы? Долой, не желаем!

И, словно по сигналу, толпа угрожающе зашумела.

Илья Николаевич выступил вперед.

— С удельными школами покончено, и, слава богу, безвозвратно! — крикнул он в ответ.— Это ваше собственное здание! Стоит без пользы! А детишек посылаете учиться за несколько верст в соседнее село! Где же здравый смысл? — выкрикивал он, теряя голос от приступов кашля.— Послушайте меня: я помогу вам открыть школу на месте... И учителя пришлю!

Но слова его тонули в реве толпы.

— Не желаем! Нет на то согласия схода! Долой!

Так он и ушел ни с чем.

А несколько позже, уже в Симбирске, ему доложили, что здание бывшей удельной школы в этом селе по невыясненной причине сгорело.

* *
*

Илья Николаевич оформил обратную подорожную и рассеянно наблюдал в окно, как смотритель ругается с ямщиками, доискиваясь, кто же из них очередной, чтобы запрягать.

Вошла Агафьюшка.

— Небось забыли бы? — И подала Илье Николаевичу его туески. Эти туески вызвали в нем бурю горьких чувств.

«Маша,— прошептал он,— мне невыносимо больно за тебя! Я сломал нашу жизнь в Нижнем Новгороде, где ты музицировала, пела, где к твоим услугам были театр, концерты, выставки, где обрела немногих, но искренних друзей... А что даю взамен? Сидишь сейчас в дрянной, наспех нанятой квартире, среди еще не разобранных вещей, с двумя малышами у подола, беременная третьим... Да кто же я такой, в конце концов? Фанатик? Черствый эгоист?.. О, Маша, как мне без тебя одиноко!» — И он, не выпуская туесков из рук, решительно направился во двор, чтобы потребовать лошадей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Установилась зима. Илья Николаевич Ульянов, живя в Симбирске, редко появлялся в городе. Забежит домой, чтобы обнять жену и детей, и уже спешит в свою инспекторскую канцелярию. Он не терпел, когда накапливаются бумаги; даст им ход, сделает распоряжения делопроизводителю — и опять в дорогу...

Прежде чем начать объезд губернии, он основательно поработал над картой, с циркулем и масштабной линейкой в руках. Расчеты сделал строго на санный путь, исключив время осеннего и весеннего бездорожья. Глядит — а зима-то совсем коротенькая! Пожалуй, и не управиться с объездом... Назарьев прав. Но, с другой стороны, не растягивать же объезд губернии на две зимы: этак и за учебным годом в школах не уследишь!

Не знали еще симбирские деятели столь обширных и смелых предприятий. Казалось им, вновь появившийся в городе чиновник замыслил фантастическое: на территории губернии полозьями своего возка прочертить новые

линии географических широт, новые линии меридианов...

А Ульянов и прочерчивал.

Перечень школ, которым руководствовался инспектор Ульянов, был заготовлен в земстве. Но Илья Николаевич в жизни своей не встречал более легкомысленного документа. Приходилось то и дело развинчивать дорожную чернильницу и вычеркивать школы названные, но не существующие.

Впрочем, случалось и так, что «мертвая душа» вдруг воскресала... В селе Ждамирове Алатырского уезда Илья Николаевич, вздохнув от огорчения, уже приготовился сделать вычерк. А волостной старшина — в испуге:

— Ваше высокородие, помилосердствуйте!

— Позвольте, как же я могу милосердствовать, если у вас нет школы? У меня в руках документ. А в документе все должно быть правильно.

— Господи, боже мой, святые угодники...— Старшина перекрестился на божницу в углу.— Да есть же школа!

Ульянов не знал, что и подумать об этом чудаке. Только что вдвоем с ним обошли все село — а школы не обнаружили.

Сказал строго:

— Не встречал еще я школ, которые пропадают как иголка в сене!

Но старшина вытащил-таки инспектора вторично на улицу.

Илья Николаевич снова принялся оглядывать каждую избу.

— Да вон она, нашлася! — И старшина побежал к сугробу в сторонке. Снежных сугробов вокруг хватало, но над одним из них закурился дымок.— Ишь, печурку затопили! — радовался старшина.— Неправда, у нас не потеряешься!

Илья Николаевич попал в темную, тесную избушку. Светец, горит лучина. В неровном, колеблющемся ее свете трудно разглядеть, сколько собралось учеников. Ясно видны только впереди сидящие мальчики. А какая скука на лицах! Но учитель бубнит и бубнит свое.

Оказалось, в учителях здесь местный крестьянин, человек малограмотный, но, как заявил он инспектору, «сподобившийся благодати». Иными словами — паломник. Прошагал половину России, чтобы побывать в Киево-Печерской лавре, поклонился «святым мощам» и теперь, с одобрения жителей села, ведет с детьми благочестивые беседы.

«Ждамирово. Нет учителя»,— записал себе Ульянов.

Это в школе, откопанной из снежного сугроба. Но и в других школах, которые он уже успел посетить, еще не повстречалось учителя, который удовлетворял бы его, инспектора, представлениям об учителе народном.

«Способностей средственных». «Весьма слаб в знаниях; в классе беспомощен», «Не проявляет усердия к делу»...— только и значилось у Ильи Николаевича в памятной книжке.

Порой он уже спрашивал себя: «Может быть, я излишне требователен к людям?

Набрался теории да и вообразил себе учителя идеального, каких и в природе не бывает!.. Ну что ж,— заключил он свои раздумья,— может быть, и так... И все-таки будем стремиться к идеалу!»

Дорога, дорога... Бренчит колокольчик, поскрипывает снег под полозьями... Порой, чувствуя, что мороз начинает обжигать то бок, то спину, Ульянов сбрасывал с плеч тулуп и, оставшись в легкой меховушке, выскакивал из возка; бежал рядом, согреваясь.

— Айда, становись уж за пристяжную, Илья Николаевич! — подшучивал кучер.— Глядишь, не парой лошадей — тройкой поедем. Оно и веселее.

Однажды в деревенском трактире Илья Николаевич согревался чайком. К прилавку подошел какой-то босяк, спросил чарку водки, выпил, крякнул от удовольствия и пошел к выходу, гремя обледеневшими лаптями.

— Эх, человече, человече...— вздохнул трактирщик, когда за посетителем, брякнув колокольчиком, закрылась дверь.— Сколько же это он верстов на своих двоих вымерял? До уезда тридцать пять — да обратно. Да не по одному разу... За своими-то заработанными... А уж и жалованье это учительское — срамота: за все про все в год двадцать пять рубликов! Только с получки и разговляется на чарочку. Ишь, даже закуски не взял, чтоб не разориться, прищелкнул языком — и до свиданьица!..

Илье Николаевичу стало жарко, но только не от выпитого чая: от стыда за министерство просвещения, за свою должность инспектора.

Расплатившись, он кинулся искать учителя. Женщина у колодца сказала: «Видала. Пошел обедать». Но где именно человек сегодня обедает, ответить затруднилась. Еще того не легче: оказывается, учитель на харчах у общества — совершенно так же, как летом пастух: сегодня его покормят в одной избе, завтра — в другой, послезавтра — в третьей.

«Кажется, этим человеком дорожат на селе,— с некоторым облегчением подумал Ульянов.— Зря бы не кормили!»

Настиг Илья Николаевич лапотника в помещении школы. Назвал себя, попросил предъявить конспекты уроков.

А инспектируемый возьми и сдерзни:

— Не до конспектов было. На собачьих рысях за казначеем гонялся, а то и помрешь — не вспомнят... А учительствую вот по какой методе: «Дитяти лучше быть на конюшне, на кухне, в огороде, чем сидеть над книгой, мучаясь над абстракциями с мокрыми глазами...»

— Голубчик! — воскликнул Илья Николаевич и удивленный, и обрадованный.— Да ведь в этих словах Песталоцци — высшая мудрость нашего живого школьного дела! Вы много его читали?

Учитель улыбнулся, и бородатое его лицо вдруг стало совсем юным, почти мальчишеским. Сказал мечтательно:

— Кажется, я уже наизусть знаю его записки о воспитании сына, но, перечитывая, открываю в них новые и новые сокровища... Какой гениальный педагог! Какой чуткий воспитатель! А этот дух самопожертвования

ради счастья не только сына, а каждого ребенка, всех детей в мире, кто брошен на дороге жизни и погибает от жестокостей общества...

Молодой человек умолк, лишь улыбался, смотря куда-то вдаль. Он, конечно, продолжал говорить, но теперь уже только мысленно, для себя. А Илья Николаевич не торопил юношу с разговором — молча им любовался.

Наутро, когда в классе собрались ученики, подтвердилось, что учебный процесс здесь построен с полным знанием дела: грамоте Лука Лукич обучает, следуя передовой звуковой методе, а не буквослагательной, за которую еще цепляются во многих школах; уроки содержательны, интересны; учитель зорко следил, чтобы никто не оставался без дела, и весь класс дружно трудился с большой для себя пользой.

Но это было уже на следующий день, утром. А сейчас из-за печки вышел тот же самый Лука Лукич, но уже не лапотником, а в сапогах; на нем была сарпинковая косоворотка, подпоясанная цветным шнуром с кисточками.

Вид уже приличный. Но одежда была из самого дешевого материала, и Илья Николаевич понял, что она сберегается для выхода в класс, к ученикам. Пусти ее в повседневную носку — живо расползется.

Затопили печку, сели к огоньку. Илья Николаевич помешивал кочергой дрова, и жерло печи гудело от доброй тяги, сияло и золотилось.

А Лука Лукич стал читать стихи.

Начал он тихо, проникновенным шепотом:

> Спасибо, друг.
> Мы встретились случайно;
> Но для меня так много сделал ты,
> Что превзошло все, что хранил я тайно
> В душе, как фантастичные мечты...

— Чье это? — поинтересовался Илья Николаевич.

Тот повел головой — мол, послушайте дальше — и продолжал:

> Я не за то тебя благословляю,
> Мой добрый, честный, мой отважный друг,
> Что если я свободу вновь узнаю,
> То, может быть, ценой твоих услуг.
> Услуги — вздор! Но ты всю сладость веры
> Мне возвратил в успех добра, в людей,
> И нет, поверь, да и не будет меры
> Любви и благодарности моей!

Илья Николаевич, повернувшись к парню, ждал ответа, и тот, вдруг смело взглянув ему в глаза, даже с вызовом и как бы с готовностью вступить в бой, ответил:

— Вы спрашиваете, чьи стихи? Это один наш товарищ, нечаевец. Из тюрьмы передал на волю... Кто в тюрьме, а кто бежать успел из Москвы, когда кружок наш студенческий громили. А я вот здесь, в тиши приютился. Не прогоните?

Илья Николаевич молча пожал ему руку.

Одна из учительниц, которую Илья Николаевич растроганно благодарил за многолетнюю работу в школе, пригласила его к себе на чашку чая.

Оказался он в плохонькой крестьянской избе, в углу, за занавеской. Сел на табуретку, а колени уперлись в край постели; занавеска легла ему на спину.

Освобождая на крохотном столике место для чашек и сахарницы, учительница убрала книжки, которые, видимо, только что читала. Илья Николаевич успел заметить, что это номера журналов «Семейные вечера» и «Вестник народной помощи». Он не удивился, увидев у старой учительницы педагогическую литературу; не мог только понять, как человек ухитряется делать такие расходы из своего грошового жалованья...

В представлении Ильи Николаевича, естественно, сложился образ передовой женщины, отличного педагога — и вдруг... Является знахарка. К учительнице! С наговорными зельями...

— Я сама ее пригласила,— оправившись от смущения, объявила учительница и тут же пошла в наступление на инспектора: — А как мне быть, если почувствовала недомогание? Кто мне поможет, скажите?

— Позвольте,— со своей стороны не удержался от упрека Илья Николаевич.— Мы же с вами не дикари... К врачу надо, сударыня а не к знахарке! Садитесь ко мне в сани, я довезу вас. Есть же поблизости больница?

Старушка порозовела от волнения. Сказала со злостью:

— Есть земская больница. Да не про нашу честь!

Через какие-нибудь полчаса стремительной езды Илья Николаевич вступил на крыльцо больницы. Знахарку он прогнал. Учительницу оставил в слезах.

В кабинете врача он услышал, что среди земских учреждений произошла какая-то несогласованность, про учителей забыли, для них ни коек не предусмотрено в смете, ни лекарств.

— Тем не менее,— сказал врач,— мы не теряем надежды... Извольте убедиться.

Тут Ульянову, в уважение к его званию и должности, было предъявлено «дело» с перепиской между больницей и вышестоящими земскими учреждениями.

Илья Николаевич встал:

— Прошу вас, доктор, ко мне в сани.

Врач попробовал сопротивляться, но встретил взгляд решительный и непреклонный и молча принялся собирать в дорогу инструменты...

В Симбирске к инспектору Ульянову заявилась просительница, бедно одетая женщина. От робости, не смея подать заготовленное прошение, она расплакалась и только бормотала: «Вы добрый человек, я слышала... Помогите, смилуйтесь!»

И — хлоп на колени.

Илья Николаевич, вспыхнув от охватившего его чувства неловкости, кинулся поднимать женщину.

История грустная... Овдовела. Сын не успел окончить гимназию, остался недоучкой. А жить не на что. Все пороги в городе пооби-

вала, чтобы недоросля своего пристроить к делу — так разве у людей есть сочувствие?.. Один купец — на рынке крупно торгует — сжалился. «Возьму,— говорит,— если пробу сдашь»,— и взвалил мальчику на спину куль мороженой рыбы. А у того — кровь горлом...

— Слабогрудому мальчику, конечно, лучше бы в деревне...— сказал Илья Николаевич сочувственно, но не видя возможности помочь. И вдруг его осенило; оживившись, он попросил прислать к нему мальчика.

Мальчуган оказался смышленым, да и учительской премудрости не чужд: хаживал по состоятельным домам, нанимался репетитором к оболтусам.

— Знаю, знаю этот рабий труд,— сочувственно улыбнулся Илья Николаевич,— сам вкушал. Ну и горек... А в школе хочешь поработать?

— Хочу!

Паренек на лету схватывал практические советы старого педагога. Урок, другой, третий — и Илья Николаевич уже читал в его глазах восторженную готовность испробовать свои силы на деле — перед ребятами в классе.

И супряжка, задуманная Ульяновым, удалась. Драгуна он оставил учителем (точнее: «Временно исполняющим обязанность»), а к нему, в должности помощника учителя, пристегнул бывшего гимназиста. За первым в программе занятий остались арифметика и пение; второй стал обучать детей чтению и письму.

Вскоре после отъезда мальчугана в деревню Илья Николаевич узнал, что драгун

принял его к себе на квартиру, мало того — и за обеденный стол с собой посадил... Молодец, умница!

Тут же Илья Николаевич в письме к драгуну подал такую мысль: пусть-ка он в свободное от классов время сам садится за парту. А гимназист конечно же не откажет подтянуть в знаниях великовозрастного ученика.

«Почем знать,— подумал Илья Николаевич, мысленно заглядывая вперед.— Быть может, из этих двух половинок, на плодородной почве взаимного доверия и взаимной помощи, вырастут два самостоятельных учителя... Слов нет,— добавил он, усмехнувшись,— с этими растениями и садовнику станет хлопот!»

В заботах о деле его не останавливали никакие трудности. Из села в село, невзирая на непогоду, разъезжал он в любое время года.

Валериан Никанорович Назарьев вспоминает:

«Бывало сидишь в теплой, покойной комнате, тревожно прислушиваясь к яростным воплям зимней метели, уже третьи сутки не выпускавшей мужика из избы, остановившей всякое движение, все работы, и вдруг под самым окном прозвенит колокольчик. Думаешь, кто заехал в такую пору, а сам уже спешишь в прихожую, чтобы встретить гостя. Входная дверь отворяется, и передо мной Ульянов, весь занесенный снегом, с обледеневшими бакенами и посиневшим лицом. Он не в состоянии говорить от холода и только по своему обыкновению добродушно посмеивается, с

величайшими усилиями вылезая из своего нагольного тулупа и наполняя всю прихожую снегом. Начинаются заботы о том, чтобы как можно скорее обогреть и успокоить скитальца, но тот как ни в чем не бывало быстро ходит взад и вперед по комнате, расправляя свои окоченевшие члены, а сам уже заводит разговор о школах, о своих наблюдениях, школьных радостях и горестях и продолжает говорить все об одном и том же предмете во время чая, ужина; вас клонит ко сну, а он все продолжает говорить, и первое слово, с которым встретит вас поутру, это все та же школа...»

* *
*

Весна. Неслышно раздевшись в передней, Илья Николаевич подошел на цыпочках к двери, что вела в комнаты. Увидел в щелку жену, детей — и с трудом удержался, чтобы не броситься к ним. Пересилило чувство предосторожности — ведь с дороги, даже еще не помылся. И дал знать о себе только веселым возгласом через дверь:

— Ау, ау, грачи прилетели!

Мария Александровна вскочила с кресла, рассыпав рукоделие. В глазах испуг — и тут же улыбка, полная радости и какого-то застенчивого смущения.

— Илюша...— Она раскинула руки — вот-вот побежит навстречу! Но какая-то женщина, которую Илья Николаевич только что заметил, вернула ее в кресло — решительно и бесцеремонно, словно вдруг обрела власть над

его Машей. А в его сторону — осуждающий взгляд:

— Зачем же... пугать-то?

Анечка, узнав отца, бросила игрушки и, хлопая в ладоши, запрыгала на одной ножке.

— Грачи прилетели, грачи прилетели,— твердила она и, смеясь, добавляла: — Ау, ау!

Четырехлетний Саша, подражая сестре, тоже ударил было в ладоши и сказал:

— Грачи прилетели.— Но осмотрелся в комнате и заморгал глазами: — А где грачи? Покажи! — И затопал к отцу.

Илья Николаевич поспешно прикрыл дверь.

— Саша,— сказал он, присев в передней и оказавшись вровень с сыном.— В руках у меня нет грачей. Но все равно я тебе их покажу. Знаешь когда? Завтра. Пойдем гулять — и увидишь грачей. Где снег уже сошел, они этак важно расхаживают, разговаривают друг с другом, готовятся гнезда вить... Понял?

Мальчик успокоился, кивнул и пошел обратно.

Тут Илья Николаевич не выдержал характера, взмолился:

— Я же не могу к вам... Не смею!

И Мария Александровна — уже перед ним. Он прильнул к протянутым рукам. Но, замотав головой от усилий над собой, тут же попятился:

— Нет, нет, Маша, не подпускай меня, гони в чистилище! Я же совсем омедвежил за эту сумасшедшую зиму!

Мария Александровна взяла голову мужа за виски:

— Но уже все? Совсем вернулся? — И поцеловала его в губы.

Он шумно, со вздохом облегчения, выпустил воздух:

— У-уфф!..

И оба рассмеялись, счастливые тем, что опять вместе.

— А это что за дама у тебя? — Он кивнул на дверь и — пугливым шепотом: — Мне следует ее бояться?..

— Не насмешничай, Илюша, соседка из нашего двора, хорошая женщина. А кто такая?..— Мария Александровна помялась, словно еще что-то хотела сказать про соседку, да, видно, раздумала.— Ну, отправляйся в свое чистилище, а мы с Анной Дмитриевной самовар поставим.

Шагнула к двери, и тут только муж заметил, что она очень располнела.

— Машенька, родная моя...— У него дух перехватило.— Так это уже скоро?..

Мария Александровна порывисто запахнула на себе шерстяной платок.

— Иди уж, иди в баню. Белье тебе пришлю.

— А веник? — спохватился Илья Николаевич.— Это я сам! — Он весело подпрыгнул и кинулся в холодный чулан. А через мгновение уже говорил жене тоном профессора: — Сударыня, как видите, в руках у меня плоский, сухо шелестящий предмет. Он мертв: сжимаю лист — остается труха; сгибаю прутик — ломается... Мертв, не правда ли?

Мария Александровна, сдерживая смех:

— Совершенно верно, профессор: шелестящий предмет мертв.

— Вы проявляете, сударыня, похвальную сообразительность. Однако следуем дальше. Попав в баню, опрыскиваем мертвый предмет живой водой, сиречь кипятком. Затем подержим его на пару, перед каменкой... И чудо: сухой, промерзший веник начинает расправляться, зеленеет, листья покрываются глянцем. Вдыхаем упоительный аромат березовой рощи — да и приступаем к делу... Однако довольно теории!

— Довольно и ребячества,— вставила Мария Александровна.

Она сделала мужу предостерегающий знак и прислушалась. Из комнаты был слышен басовитый голос соседки.

— Зовет,— шепнула Мария Александровна.— Неудобно, пойду к ней.

— Да кто же она, Машенька?

— Илюша, это наше женское дело...— И Мария Александровна взялась за дверную скобу.— Но если тебе уж так не терпится знать, Анна Дмитриевна Ильина — опытная акушерка...

Квартиру Ульяновы снимали у домовладелицы Прибыловской, во дворе, во флигеле.

В глубине двора стояла баня — вполне приличный сруб, с выводом дыма через трубу. Илья Николаевич только теперь, возвратясь из поездки, в полной мере оценил, какое это удовольствие — поразмять косточки в хорошо устроенной баньке! Возрождается чувство чистоплотности — одно из самых

праздничных человеческих ощущений. А в деревнях... Бани есть, но в каком же они виде! Случалось Илье Николаевичу влезать в парильню, как в берлогу; мыться, задыхаясь в дыму. Да что бани! Жилые избы сплошь и рядом топятся по-черному, особенно в чувашских и мордовских селениях.

«Жилище человека должно быть светлым, радостным, уютным,— думалось Ульянову в такие минуты. И хотелось воскликнуть: — О, Россия! Когда же войдешь ты в светлый дом свой?»

Хозяйский работник помог натаскать воды из колодца, затопить баню. Вместе и мыться пошли. Нещадно настегивали друг друга вениками. Свойский и веселый господин из флигеля понравился работнику, и он, набрав ушат холодной воды, окатил его с головы до ног. А пока господин, раскрыв рот и выпучив глаза, приходил в себя, поддал жару в каменку. Илья Николаевич опрокинул ушат холодной воды на голову работника, и тот тоже пришел в остолбенение. Поквитавшись услугами, продолжали париться...

Потом в блаженной расслабленности Илья Николаевич лежал на полке. Наконец-то он дома... «Боже,— подумал он,— есть ли предел человеческому счастью?» Ему вспомнились первые дни в Симбирске. Пробная поездка... Всю обратную дорогу он торопил ямщика. «Лошадей загоним, господин, этакой гоньбой!» — мрачно сопротивлялся тот. А он — как обезумевший: «Гоните... Загоняйте... Только поскорее в Симбирск!»

И вот он перед Машенькой, покаянный. Сказал, не поднимая глаз: «Ты... плачешь по Нижнему?» Жена улыбнулась, и это была очень серьезная улыбка.

— Илюша, а почему ты меня обижаешь?

— Чем же? — прошептал он горестно.

— Недоверием! — И она приникла к нему, и не успел он расстаться с гнетущими своими мыслями, как свет ее улыбки сказал ему, что любимая с ним — всегда, везде, и в радостях, и в невзгодах.

...Илья Николаевич все еще нежился на банной полке — то задремывая, то лениво постегивая себя веником. Вставать не хотелось: только бы смотреть и смотреть картины его счастья с Машей...

А Мария Александровна в это время готовила не только самовар. Проводив соседку, она подошла к зеркалу и с большой строгостью принялась исследовать свое лицо. Не выдаст ли усталый взгляд? Не слишком ли бледны щеки? Она пережила тяжелую зиму. Плакала... Порой вечерами даже читать не хотелось. И к роялю охладела. Притронется пальцем к клавише и со вздохом опустит крышку. Стоит и слушает, как замирает одинокий звук...

И вдруг в ушах — каскад аккордов... Вагнер!

Кто же это так смело и с такой силой?.. Узнала! За роялем — она сама. Да, да, в Нижнем, на музыкальном суаре. Один из участников музыкального кружка только что спел старинные русские романсы; ей понрави-

лось — исполнил в верной интонации и с чувством.

А теперь у рояля она. Илья Николаевич, посаженный ею перелистывать ноты, шепчет: «Как хорошо... какая ты у меня виртуозка...» Но она и сама чувствует, что играет с подъемом. В аккордах — звон мечей, победные клики; и меч Зигфрида в ее руках и послушен ее желаниям... Мир звуков, она живет в нем!

В гостиной всякий раз интереснейшее общество: путешественники, артисты, ученые...

«А здесь, в Симбирске...» Еще не поздно, а город спит. Прислушаешься — на улице только «тук-тук-тук»... Сухое дробное пощелкивание. Стучит колотушка ночного сторожа. Он оставался для нее невидимкой, пока не наступил Новый год. Тут он явился с поздравлением. Это был жалкого вида человек, от какой-то болезни окривевший на один глаз. Сбоку, на поясе рваного полушубка, Мария Александровна увидела и колотушку. Марии Александровне понравилось, что к своему инструменту сторож относится с уважением: колотушка была украшена узорами.

Познакомились. Сторож назвался Кондратом и витиевато, со старинными величаниями, поздравил молодую хозяюшку и ее детушек, а заглазно муженька ее и всех сродственников с Новым годом, с новым счастьем.

Потом, истово перекрестившись, одним духом сглотнул предложенный ему стаканчик водки, закусил, а прощаясь, как бы между прочим, сказал, что недорого возьмет, если потребуется подшить валенки.

Мария Александровна печально вернулась к себе и всплакнула: «Вот и все мое здешнее знакомство, вот и весь наш с Илюшей Новый год...»

А потом — ночь без сна. «Где-то сейчас Илюша? Он ведь такой непрактичный, не умеет и подумать о себе...» И ей мерещилась снежная пустыня, по которой, настигнутый вьюгой, едва пробирается возок... А спасительного огонька жилья все не видать. Пресвятая богородица, кто же поможет ему?.. Нет, нет, так невозможно жить... Не пущу его больше из дому!»

Все это Мария Александровна словно прочла на своем лице в зеркале. И встревожилась: ничего этого не должен прочесть Илюша! Никогда она не скажет ему о том, как замучилась в ожидании.

* *
*

— Папа, а у нас грибы,— сообщили дети.

— Превосходно,— отозвался Илья Николаевич,— как раз я соскучился по домашним грибам!

Мария Александровна убирала со стола после чаепития и при упоминании о грибах почему-то рассмеялась.

Илья Николаевич улыбнулся в ответ и подумал: такой уж день, с самого его приезда шутки и веселье.

— А к слову сказать, Маша, и чуваши умеют вкусно поесть. Например, «тавара» — пальчики оближешь! Это вот что. На сто-

ле — горшок, в нем горячее топленое масло. А в масле... Тут надо погрузить ложку до дна — и вытянешь творожный шарик...

Мария Александровна заинтересовалась, спросила:

— Илюша, ты что-то недосмотрел: в масле творог расползется, какие тут шарики?

Илья Николаевич словно только и ждал этого коварного вопроса. Победно улыбнулся:

— А тут хитрость чувашской стряпухи! Шарики не сразу кладут в масло, а высушивают: на противень — и с вечера в вольную печь; к утру готовы!

— Ну что ж,— сказала Мария Александровна,— ты научишь, а я приготовлю, если тебе так понравилась тавара...

— Очень понравилась. Вообще у меня самые лучшие впечатления от чувашей. И я не перестаю возмущаться мракобесием иных наших профессоров-этнографов.

Илья Николаевич прищурился, что-то припоминая. Тронул себя за бороду:

— Вот послушай, Маша... За правильность фонетики, понятно, не ручаюсь. «Ахал лариттен керек аркине те пулин павала». По-русски эта поговорка значит: «Чем так стоять, хоть полу накручивай у своей шубы».

— Какая прелесть! — воскликнула Мария Александровна.— Народный юмор, бьющий наповал бездельников!

— По-моему,— вставил Илья Николаевич,— и некоторых господ профессоров.— И добавил: — Хочется мне выучиться хоть немного говорить по-чувашски. Чтобы не быть

среди чувашей чужаком. Ведь это так важно для дела!

Он хитро сощурился:

— Вот когда мне в особенности пригодился бы мой домашний полиглот!

— Сомневаюсь, Илюша,— отозвалась жена.— Я даже не знаю строя этого языка. Какая же я тебе помощница? Советую, вращаясь среди чувашей, прислушиваться к их говору, самому пробовать говорить... Но мы увлеклись филологией. А ведь дети хотели тебе что-то показать.— И Мария Александровна опять скрыла улыбку.

Девочка взяла отца за руку:

— Пойдем смотреть грибы!

Мальчик ухватился за другую.

Илья Николаевич сделал шаг в сторону кухни, но дети повели его в кабинет. Час от часу не легче... кабинет пустой: ни письменного стола его, ни книг, ни дивана, расположившись на котором он любил поразмышлять.

— Вот грибы! — И Анечка, отпустив отцовскую руку, присела на корточки, носом в угол.

— Белые,— сказал Саша и присел рядом с сестрой.

Илья Николаевич посмотрел через головы детей. Да, в кабинете между полом и бревенчатой стеной выросли грибы!

В комнату вошла Мария Александровна.

— Удружила госпожа Прибыловская, нечего сказать! — обратился Илья Николаевич к жене. И вскипел: — Нет, это возмути-

тельно: плесень, гниль — и здесь же наши малыши!

— Успокойся.— И Мария Александровна назвала условия, какие она выговорила у домовладелицы. Кабинет признается нежилой комнатой, и соответственно уменьшается наемная плата.— Что делать, Илюша, потеснимся в двух комнатах. Время к лету, а там и Кокушкино. А к осени хозяйка обязуется приготовить благоустроенную квартиру, как она говорит, «в бело-этаже».

— Надо же так запустить домик! — продолжал возмущаться Илья Николаевич.

— А мы пробовали грибы собирать,— сказал Саша.— А они не собираются.

— Да, не собираются! — сделала большие глаза Анечка.— Очень твердые.

Илья Николаевич рассмеялся:

— А мы их ножичком! Белые грибы всегда надо ножичком!

Мария Александровна, улыбаясь, стояла у двери. Поторапливала «грибников», чтобы запереть необитаемую комнату на ключ.

* *
*

Доклад Ульянова о зимней поездке по губернии вызвал в официальных кругах Симбирска конфуз и растерянность...

Земцы хвалились: радением их и трудами сеть народных школ к 1869 году доведена до 460 единиц.

Приятнейшее это число взял в свой годичный отчет губернатор. Его сиятельство граф

Орлов-Давыдов, как обычно, красной строкой поставил сведения о сословной мощи губернии: 3115 проживающих по преимуществу в родовых имениях потомственных дворян и 2751 чиновник счастливы, как выразился его сиятельство, верноподданнически считать себя опорою престола.

А число «460» вошло в отчет как знак просвещенного направления мыслей дворянства. При этом его сиятельство учел, разумеется, и собственный интерес. По новому положению, губернатор обязан состоять членом губернского училищного совета. Его сиятельство и состоял; следовательно, успехи в школьном деле вправе был отнести за счет неусыпного попечения о вверенной ему губернии.

Председательствовал в губернском училищном совете архиерей, преосвященный Евгений. Владыко, донося по своей церковной линии о положении дел в епархии, тоже использовал выигрышное число «460».

Его преосвященство не был завистлив, но дьявол порой шептал ему: «Сочти воинство губернатора и сочти свое. Там помещики и чиновники вкупе составляют 5866. А у тебя в губернии духовенства — белого и черного — 13 198 лиц, то есть вдвое больше; вдобавок к этому у губернатора греховодники — пьяницы, картежники и прелюбодеи, а у тебя пастыри со крестом в руках и словом божиим на устах...»

Заслугу в преуспевании школьного дела архипастырь, натурально, отнес к себе...

460 школ для народа! Симбирцев хвалили, симбирцам завидовали. Деятели училищных советов — как губернского, так и уездных — были поощрены новогодними наградами...

Успехи очевидны. Оставалось их подытожить на годичном собрании губернского совета, а это каких-нибудь час — полтора приятного времяпрепровождения; после чего дамы готовили бал.

И вдруг является инспектор народных училищ Ульянов — строгий, сухой, затянутый в мундир — и ставит свой доклад, объявив его чрезвычайным.

Уже было известно, что вновь назначенный в губернию чиновник наделен крупными полномочиями. А в губернский совет входит действительным членом, наряду с губернатором и еще двумя господами. Все это так. Но слишком уж бесцеремонно новоприезжий вторгается в разработанную программу вечера...

Встретили Ульянова с холодком.

Илья Николаевич не принадлежал к ораторам громовержцам и ниспровергателям. Эффектного жеста не искал, голос не форсировал. Как всегда, так и на этот раз, обходился скромными своими голосовыми средствами. А впечатление от речи было потрясающим.

Оказалось, что никакой школьной сети в губернии нет, можно говорить лишь о жалких обрывках сети.

— 460 школ — это плод ленивого воображения некоторых земских деятелей,— говорил

Ульянов с грустной улыбкой,— вредный плод. Такие плоды выбрасывают, а не несут на стол...

В зале — ни звука.

Возразить Ульянову не было возможности. Он называл факты и цифры, факты и цифры...

Инспектор установил, что лишь 19 процентов из 460, только 89 школ, представляют более или менее организованные учебные заведения.

В зале сидели сановитые господа. Сперва свою растерянность перед цифрами и фактами они пытались прикрыть ироническими усмешками, но вскоре лица их стали откровенно злыми. Некоторые повели себя вызывающе, стали возмущаться вслух, особенно один толстяк в дворянском мундире.

Илья Николаевич обратил взор к председательствующему. Но тот не способен был навести порядок: погрузив нос в апостольскую бороду, он мирно дремал.

Кто-то из публики не выдержал, потребовал, чтобы грубиян замолчал. Услышав фамилию толстяка, Илья Николаевич догадался, что перед ним — председатель Симбирского же, только уездного, училищного совета. Анекдотическая фигура! Как рассказывал Назарьев, этот господин ежегодно ассигнует на школы в уезде (а их числится 55) сто рублей; пишется соответствующий протокол, после чего председатель запирает деньги на ключ. «У меня 200-процентная экономия»,— похваляется он своей деятельностью.

Но Ульянов, будучи в поездке, вскрыл еще более скандальные его проделки. Об этом и сказал во всеуслышание:

— Мы с вами еще не знакомы, господин уездный председатель... Рад случаю. И кстати, к вам вопрос. Как руководитель уездного совета, вы, разумеется, заглядывали в Мостовую Слободу? До села этого рукой подать — не могли не заглядывать. Школы там нет — почему же таковая значится в документе, вами подписанном? Недалеко отсюда и село Карлинское — и тамошняя школа только на бумаге. И в Панской Слободе, и в Шиловке... В чем дело? Соблаговолите объяснить собранию.

Толстяк молчал, наливаясь кровью, а в зале веселое оживление.

Обезоружив наглеца, Илья Николаевич получил наконец возможность спокойно продолжать доклад. Заговорил о важности женского образования в России.

— Не исключение и деревня,— сказал он.— Грамотная деревенская женщина способна поднять к свету учения всю семью. Кому, как не ей, жене и матери, видны все темные и затаенные от постороннего глаза углы, из коих произрастают невежество, косность и все уродства деревенского бытия? Кто, как не она, извечная труженица-крестьянка, прозрев к свету, еще прежде мужика своего, Белинского и Гоголя с базара принесет?

И тут же привел плачевные цифры: в деревенской школе на пятерых мальчиков только одна девочка.

Внезапно оживился толстяк. Он выкарабкался из кресла, встал и, повернувшись к залу, поднял руку, как бы испрашивая себе полномочие для ответа инспектору.

— Человек вы приезжий. Живете у нас каких-нибудь полгода. А уже беретесь читать нравоучения, да не школьникам, а столбовым дворянам!..— Толстяк помолчал, подавляя в себе вспышку гнева, и продолжал: — Наш край знал жестокие времена. Тому нет и ста лет, как Волга-матушка выбросила на наши берега чудовище Емельку Пугачева! Кровь, дым и смрад — вот что оставалось от разоренных дворянских гнезд... Я вам, господин Ульянов, готов показать дворянские семьи, где до сих пор, в четвертом-пятом поколении, не могут избыть скорби по родичам своим, замученным и растерзанным злодеем... Вот что, господин Ульянов, следует раньше всего взять в соображение!

Илья Николаевич терпеливо выслушал помещика.

— Простите, но мы, кажется, говорим о разном.

— Ничуть! — возразил толстяк.

— Я говорил о женском образовании...

— И я о том же! — Толстяк побагровел.— У Емельки жена была грамотейкой. Образованная разбойница! Вам не нравится, что у нас в школах одна девочка на пятерых мальчиков? А мы, симбирцы, считаем: хватит. Поменьше злодеек будет по деревням да поменьше распутниц!

Илья Николаевич опешил. Под дворян-

ским мундиром тучного господина он вдруг увидел обожравшегося дикаря, который замахивается каменным топором на развитие и будущее самой цивилизации!

— Бедные девочки...— только и смог вымолвить Ульянов. Помолчав, продолжал: — Но теперь я, кажется, понял, почему исчезли прежде существовавшие школы в Мостовой Слободе, Карлинском, да и в других селах. Ведь школы были женскими...

Угадал Илья Николаевич. Бешеный взгляд дворянина был тому подтверждением.

Подал реплику и еще один из участников собрания:

— На пугачевщину, допустим, можно и не оглядываться: прошлое столетие. Но Бездна — это уже пугачевщина наших дней! Что вы, господин инспектор, на это скажете?

Илья Николаевич знал о Бездне. Это — название одного из сел Казанской губернии. Манифест 19 февраля не удовлетворил крестьян: чаяли большего. В Бездне начались волнения. Предводительство взял молодой местный крестьянин Антон Петров. Он был грамотный и, ознакомившись с манифестом, заподозрил обман со стороны чиновников и помещиков. Петров пообещал односельчанам «настоящую волю». Начавшись в Бездне, восстание, как пожар, гонимый ветром, распространилось на множество сел и деревень Казанской губернии, затем перекинулось в Самарскую губернию, в Симбирскую... Помещики разбегались, их имения пылали...

Ульянов тогда еще только начинал служ-

бу, учительствуя в Пензе. Истребление безоружных людей приводило его в содрогание, «Скуси патрон! Скуси патрон!» — размеренно подавали команду офицеры, и тупой, забитый солдат, зубами разодрав бумажный пакетик с порохом, заряжал ружье. «Пали!..»

Боль простреленного мужицкого сердца Ульянов переживал, как собственную боль... Но тому уже почти десять лет. Страсти, считал Илья Николаевич, улеглись, и манифест оказывает благотворное влияние на жизнь деревни. И, отвечая на заданный ему из зала вопрос, он сказал то, что думал:

— Кровавые трагедии, господа, подобные бездненской, принадлежат истории.

Он заговорил о вдохновляющих переменах в России.

— Россия, господа, на пороге обязательного начального обучения. Это обозначает всенародную грамотность! Лучшие люди и гении нашего отечества всегда мечтали об этом. В правительстве, как, вероятно, всем вам известно, этот вопрос всесторонне изучается. Последуют великие решения, а осуществлять их, господа, нам с вами!..

Сидят помещики, раздумывают по поводу «вдохновляющих перемен», а лица кислые...

Слово взял директор местной гимназии и член губернского совета Иван Васильевич Вишневский:

— Вы, господин Ульянов, сами себе противоречите. Только что говорили — и вполне убедительно,— что в деревне со школой неблагополучно: учителей не хватает, жалованьем

не обеспечены; ни библиотек в школах, ни учебных пособий и так далее и так далее... На всю губернию, как сами подсчитали, какие-то две тысячи школьников — и с теми не управляемся. А у вас на устах уже клич: «Обязательное образование, все поголовно в школу!» Ну и хлынут к нам сотни тысяч детей — представляете, что случится: потоп!

Закончил язвительно:

— Господа, здесь упоминался Пугачев. Упоминалась Бездна. Добавлю от себя: обязательное обучение не для Симбирской губернии. Потонем с ним. Или у вас, господин Ульянов, наготове ноев ковчег, чтобы спасать нас!

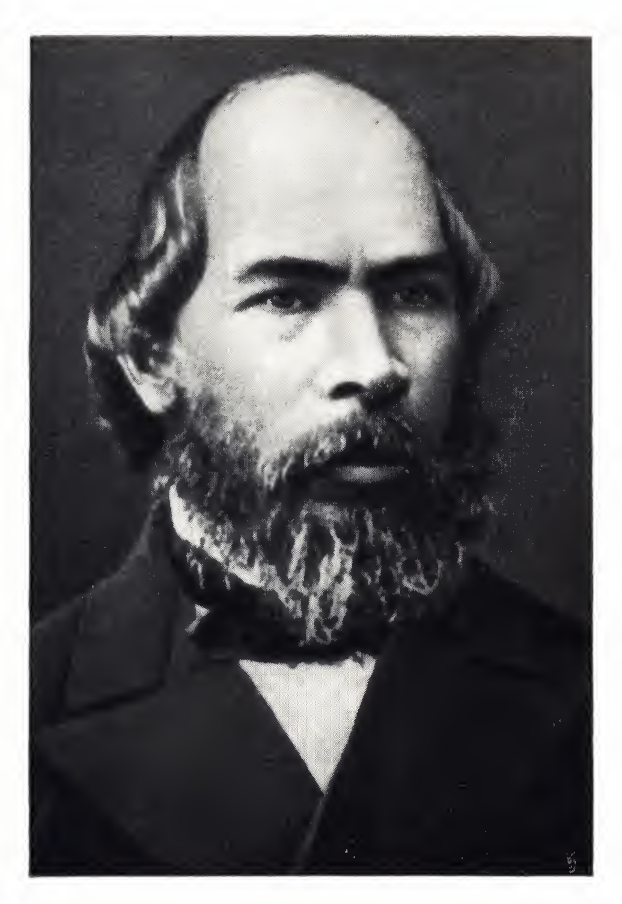
Это было сказано с большой экспрессией, и зал ответил хлопками.

Вишневский заложил руку за борт мундира и покинул кафедру с высоко поднятой головой.

Прения по докладу не развернулись — давала себя знать близость готовящегося бала. Дамы-устроительницы все нетерпеливее заглядывали в дверь, строя недовольные гримасы: залы-де существуют для танцев, а не для скучных рассуждений мужчин.

Поднявшись на трибуну для заключительного слова, Илья Николаевич озабоченно посмотрел на часы. А из зала: «Господин Ульянов, не торопитесь... Хотим вас дослушать!» Голос прозвучал не одиноко. В зале воцарилась благожелательная тишина.

Это был перелом в настроении собравшихся; Ульянов почувствовал, что он наконец по-



И. Н. Ульянов

Дом в Астрахани,
в котором родился И. Н. Ульянов





И. Н. Ульянов с воспитанниками дворянского института в Пензе



Семья Ульяновых.
1879 г.

лучает поддержку, без чего не мыслил плодотворной работы в губернии. Кто же в результате доклада, который он провел как честную битву, взял его сторону? Только не архиерей и не члены губернского совета! Да и уездные деятели огорчили его... Но в зале труженики народного образования — учителя, попечители и попечительницы начальных школ, почетные при школах блюстители — все это люди из местной интеллигенции; даже из уездов приехали на инспекторский доклад.

Илья Николаевич кратко изложил программу своей предстоящей деятельности, отвесил залу низкий поклон и под аплодисменты сошел с трибуны.

Откуда ни возьмись — Назарьев. Сквозь толпу пробился к кафедре.

— Радуюсь вашей победе! А вдвойне тому, что нашего дундука вы обратили в бегство... Смотрите на архиерея! — быстро закончил Назарьев.

Владыко что-то объявлял скорбным голосом.

Ульянов прислушался. Оказывается, председатель Симбирского уездного училищного совета сложил с себя председательские полномочия.

Впоследствии В. Н. Назарьев написал об этих днях такие строки:

«Произошло нечто неожиданное... Точно вдруг среди суровой, слишком долго затянувшейся зимы настежь распахнулось наглухо запертое окно и в него полились лучи яркого солнечного дня. Да, это была настоящая

весна, это было время всяких неожиданностей и только что не чудес. Да и как же не назвать чудом появление в наших палестинах таких людей, как Илья Николаевич Ульянов, единственный в то время инспектор народных школ на всю губернию, с первого же шага отдавший всю свою душу возложенной на него обязанности».

* *
*

— Господин Ульянов, ну зачем же так официально?..

Губернатор даже руками развел. Торопливо встал с кресла и, обойдя свой обширный письменный стол, мелкими проворными шажками двинулся навстречу инспектору. Взял его руку в обе свои, мягко пожурил:

— Я пригласил вас... хотелось запросто побеседовать. А вы в полном параде!

Граф посмотрел на себя. Был он в простецком архалуке с застежкой на крючках; на ногах — мягкие, домашние, уютно стоптанные полусапожки. Только брюки с генеральским шитьем свидетельствовали о сановитости мило улыбавшегося старика.

Ульянов стоял навытяжку, весь внутренне напрягшись. Визиты по начальству были для него мукой. Ты уже не свободно мыслящий человек, а чиновник такого-то класса, облаченный в темно-синий мундир с такими-то знаками ведомства народного просвещения. Мало того, ты раб своего чина и своего мундира. Вступает в действие этикет. Параграфы

этикета вертят тобой, как болванчиком, и усердно толкают в шею, требуя чуть ли не на каждом шагу поклонов...

А граф продолжал жеманничать:

— Мне даже неловко, господин Ульянов, перед вами... Нет, я решительно должен переодеться!

— Помилуйте, ваше сиятельство, не надо, вы заставляете меня краснеть... Зачем эти церемонии?..

Граф улыбнулся, кивнул и, очень довольный, посмотрел на Ульянова. Конечно, ему не хотелось облачаться в свой сложный губернаторский парад.

— В таком случае,— сказал он,— извольте хоть треуголку отдать и шпагу!

Сели в кресла. Друг перед другом. Губернатор улыбается, и Ульянову в ожидании разговора ничего не остается, как улыбаться.

Его сиятельство вдруг поморщился.

— Подагра...— процедил он и, помогая себе руками, положил ногу на ковровую скамеечку.

Вздохнул и, кивнув на приподнятую ногу, выразил сожаление, что не сумел присутствовать на докладе господина инспектора народных училищ.

— Впрочем, наслышан, наслышан... В городе только и разговоров...— Генерал откинулся в кресле, и взгляд его вдруг стал сверлящим.

— Так сколько вы у нас насчитали школ, господин Ульянов?

Илья Николаевич, будто не замечая недобрых огоньков в глазах графа, повторил названную в докладе цифру.

Его сиятельство зло рассмеялся:

— Вот удивительно! А наши земцы насчитывают 460!.. Впрочем...— Тут он сложил крестом руки на груди.— Не спорю, не спорю... Вы же, насколько мне известно, ученый математик!

Илья Николаевич не ответил на колкость.

Тут граф перенес свой гнев на земцев: его, своего начальника губернии, в какое положение поставили перед министром!

— Ну, бог с ними...— И граф махнул рукой. Успокоился — а успокоившись, заложил ногу на ногу.

Илья Николаевич деликатно отвернулся. Так он и подозревал — никакой подагры.

Между тем разговор как бы повис в воздухе.

Граф что-то обдумывал, и выражение его лица не сулило приятностей. Ульянов заговорил, опережая графа:

— Ваше сиятельство, я надеюсь, что наша Симбирская губерния будет иметь 460 школ...

Граф пристально посмотрел на собеседника. Быть может, он уже видел, что инспектор, ощутив всемогущество начальника губернии, идет на попятный: зачеркивает свои пакостные «89» и восстанавливает в правах число «460»?

Но Ульянов закончил фразу так:

— ... 460 школ на протяжении ближайших нескольких лет.— И продолжал: — В самой школьной сети, как она ни запущена, бьется

пульс жизни. В нищете и неустройстве, а как беззаветно трудятся иные сельские учителя... В сегодняшнем номере «Губернских ведомостей» я опубликовал нескольким из них благодарность... Вы уже смотрели, ваше сиятельство, газету?

Граф сидел удрученный. Пришлось повторить вопрос, чтобы он очнулся.

Позвонил — и ему подали свежий номер губернской газеты.

Илья Николаевич помог найти публикацию.

Продолжая развивать свои планы, он добился того, что губернатор спросил заинтересованно:

— Вы считаете, господин Ульянов, что и я могу чем-нибудь помочь делу, о котором вы столь увлеченно печетесь?

— Несомненно! — И Ульянов тут же подсказал губернатору ряд полезных для школьного дела мероприятий.

— Особенно важно, ваше сиятельство, чтобы интересами народного образования прониклись чины низшей государственной администрации. К примеру, волостной старшина может оказать нам, просвещенцам, неоценимую помощь; разумеется, если захочет.

— А я ему, такому-сякому, прикажу захотеть! — И граф, в сознании своего могущества, легким движением руки распушил бакенбарды.— Волостные старшины, дорогой господин Ульянов,— главная моя опора в гуще мужиков. Я бы сказал, мои волостные губернаторы! И смею заверить, что среди этих,

верных мне служак вы встретите такое же полное понимание, как и у меня — губернатора губернского!

Граф улыбнулся, как бы приглашая собеседника оценить его сиятельное остроумие. В ответ на приглашение улыбнулся и Ульянов.

— Ну а теперь,— внезапно воскликнул граф,— услуга за услугу!

Встретились глазами — Илья Николаевич, настораживаясь, поглубже сел в кресло: «Вот оно, ради чего он меня вызвал!»

Граф встал, прошелся, отлично ступая больной ногой. Повернул голову — и через плечо:

— А дамы в претензии на вас! «Ожидали,— говорят,— ожидали, когда наконец господин Ульянов кончит доклад, а он и на бал не остался».

— Я не танцую, ваше сиятельство.

Граф с живостью обернулся:

— Не верю! Не допускаю мысли!

Опять сел напротив Ульянова. Помолчал. Грустно склонил голову:

— Мой друг, вы обидели первую в губернии красавицу — нашу пленительную Лизет...

— Позвольте! — запротестовал ошеломленный Илья Николаевич.— О чем вы? Что за шутки?..

Оказывается, на балу танцевала госпожа фон Гольц.

— Вы с ней знакомы, господин Ульянов. Лизет очарована вашим умом, тактом, ученостью. И скажу по секрету, ищет вашей друж-

бы... Боже...— тут генерал восторженно закатил глаза,— ...пройтись с Лизет в вихре вальса... А голубая мазурка на рассвете... Трам-тара-рам-там-там!..— Граф притопнул ножкой по паркету.— И все это, мой друг, предназначалось вам. Бедняжка отказала множеству кавалеров...

Илья Николаевич понял: его завлекают в ловушку. Не так уж ей, барыньке, надо это учительство: всякую зиму с мужем на балах в Петербурге. Так нет — дамская блажь: во что бы то ни стало, а поставить на своем!

Илья Николаевич уже догадывался, что граф не устоял перед красавицей. Сказал что-нибудь вроде: «Ма шер Лизет, считайте, что вы утверждены учительницей. А с инспектором Ульяновым я формальности улажу!»

От одной этой мысли все вскипело в нем. Такого приказа и сам губернатор от него не дождется! А трезвый голос внутри: «Не горячись, одумайся... Откажешь губернатору — наживешь в нем врага. А ведь тебе здесь работать: без содействия, без помощи губернатора ты пропал...»

Илья Николаевич набрался духу.

— Ваше сиятельство! — прервал он сладкозвучную речь губернатора.— Вы правы. Я не оказался достойным кавалером. Но хочу быть рыцарем в отношении госпожи фон Гольц!

Граф умолк. С интересом уставился на собеседника.

— Что там учительство! — начал Ульянов, спеша вырвать у графа инициативу.—

Возня с крестьянскими ребятишками, трата нервов...— Тут Ульянов для выразительности сморщил нос.— Нет, это не для мадам фон Гольц! Большому кораблю, как говорится, большое плавание!

— Ну-те, ну-те...— оживился граф, вместе с креслом придвигаясь к Ульянову.

Илья Николаевич напомнил графу, сколь мизерны средства, ассигнуемые на школьное дело и казной, и земством (при упоминании земства граф с презрением махнул рукой), и сказал, что в этих условиях приходится рассчитывать на отзывчивость общества.

— Вообразите, ваше сиятельство: подписной лист в руках госпожи фон Гольц! Уверен: богатейшие люди губернии откроют перед нею кошелек!

Его сиятельство был застигнут врасплох.

— Вы полагаете?..— промямлил он.— Кто же у нас уж такие богачи?..

— Среди помещиков — извольте: суконные фабриканты господа Воейковы...

— Воейковы — скряги! — перебил граф и заворчал сердито.— Если уж выбирать жертвователей, то...

Ульянов поспешил изменить тактику. Пошел в лоб:

— Ваше сиятельство, за вами почин! — Он взял с губернаторского письменного стола лист бумаги, обмакнул перо.

— Сколько?..— буркнул его сиятельство, сдаваясь.

Ульянов проявил деликатность: не определил суммы взноса. Только сказал:

— Надеюсь, ваше сиятельство, не станете возражать, если я о сделанном вами благородном почине дам публикацию в «Губернских ведомостях»? Это послужило бы убедительным примером для многих...

Граф встал.

— Подержите,— сказал он Ульянову, отдав перо и бумагу. Пошел к своему месту за столом, извлек из каких-то тайников шкатулку; музыкально прозвучал отпираемый замок — и вот уже шкатулка опрокинута. На столе — ассигнации и груда серебра.

— Подписываюсь на всю мою наличность! — объявил губернатор, весьма довольный собой.— Здесь,— и он старательно пересчитал,— 230 рублей 71 копейка. Извольте, господин Ульянов, принять деньги.

— Полагаю, ваше сиятельство, что этот лист с вашей подписью и проставленной вами суммой пожертвования следует переслать...— Илья Николаевич сделал паузу, предоставляя его сиятельству догадаться.

Граф улыбкой поблагодарил его и позвонил.

— Запечатать,— приказал он вбежавшему курьеру,— и госпоже фон Гольц. Отправить с фельдъегерем! В собственные руки!

* *
*

Ульянов покинул дом губернатора очень довольный собой. Сам удивился своей находчивости. Но с волками жить — по-волчьи выть!

Пристроена к делу фон Гольц. Насчет этой барыньки Илья Николаевич не строил иллюзий. Не удивится, если «красавица Лизет» швырнет подписной лист в лицо, да не фельдъегерю, а самому сиятельству.

Ульянову казалось, что он видит ее насквозь. Да, он был наблюдателен, как и свойственно хорошему педагогу. Но вместе с тем — кристально честен. А очень честные люди порой не способны разглядеть во всей глубине мерзость человеческой натуры, таящуюся, скажем, под личиной златокудрого ангела. И расплачиваются за это...

Но не будем забегать вперед. Пока что поступили сведения, что госпожа фон Гольц подписной лист приняла.

«Симбирские губернские ведомости» не замедлили оповестить публику о благородном почине господина губернатора (сумма пожертвования была выделена жирным шрифтом).

В уважение к его сиятельству поднатужились земские деятели: несколько увеличили пособия сельским школам.

А государственная казна? Она верна себе: как и в предыдущие годы, ассигновала на начальное образование в губернии круглый... нуль.

Перед Ульяновым — школьный бюджет за 1869 год. Поступило и израсходовано около 50 тысяч рублей. Это ничтожно мало по сравнению с действительными потребностями губернии; однако для тех, кто раскошелился, деньги большие.

А раскошеливаться пришлось прежде все-

го мужику. В каждом бюджетном рубле — 85 копеек крестьянских... Сколько же на нем, мужике, платежей? Подать в казну отдай; выкупные за помещичьи земли снеси; вот и земство свое требует — установило земские сборы...

«Эх, мужичок, мужичок...— вздохнул Илья Николаевич: — Жизнь твоя как в сказке...»

Он имел в виду сказки Салтыкова-Щедрина, только что опубликованные в «Отечественных записках»:

> «— Спишь, лежебок!.. Небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! Сейчас марш работать! ...Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец... напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?»

Занялся Ульянов служебными бумагами, а в мыслях будто продолжение сказки... Мужик перед ним, босой, в посконных портках; показывает на свои пустые, вывороченные карманы и говорит: «Погляди, инспектор, обчищен я уже генералами начисто. А ведь и ты прикатишь с бубенцами — налог накладывать... На что надеешься?..»

«В самом деле, на что я еще надеюсь? — Илья Николаевич отодвинул бумаги и задумался.— Было бы наивно,— сказал он себе,— пойти по деревне, возглашая: «Ученье — свет, неученье — тьма; ученье свет — неученье — тьма...»»

Крестьянин мыслит практически. Дай ему пощупать эту самую грамотность, сравнить ее, к примеру, ну хотя бы с гвоздем для хозяйства. Пускай на ладонях подержит — что перетянет: польза от грамотности или хозяйственный гвоздь, на что лучше, способнее истратиться?

Уважает крестьянин арифметику. «Дважды два да трижды три» — плати, господин заезжий купец, правильную сумму за зерно, что тебе смолочено, за куделю, за овчины!

А к чтению, письму недоверие. Крестьянин негодует: «Мальчишка две, а то и три зимы потерял, а читать не может... Да на кой ляд нам такая школа!»

Илья Николаевич говаривал по этому поводу учителям: «Жертву буквослагательного способа гениально показал Гоголь. Вспомните чичиковского Петрушку:

«...Все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое, иной раз, черт знает, что и значит»».

Полный переворот в обучении грамоте нес «звуковой метод», разработанный передовой

педагогикой, и Ульянов был страстным его пропагандистом. Изначальный в руках учителя материал здесь не буква, а полное слово. Слово звучит в классе, ученики повторяют его вслед за учителем — слово, во всех его красках, со всей музыкальностью, на полную глубину смысла; затем при помощи учителя (незаметной!) дети расчленяют слово на слоги, а там, не затрачивая особых усилий, добираются и до букв... Не проходит и года, как ученик, не умевший книгу раскрыть, уже бойко и осмысленно читает!

«Зеленый шум, весенний шум... Идет-гудет...» Звуковой способ, мыслилось Ульянову, принесет в школы дыхание весны. Да и мужик увидит толк в школьном обучении детей.

Помимо обязательной министерской программы Илья Николаевич намечал в сельской школе для девочек вводить рукоделие, для мальчиков начатки того или иного ремесла (применительно к характеру местных крестьянских промыслов).

И разумеется, повсюду школьные хоры: новая, послереформенная деревня должна и будет петь!

«Да, он беспортошный,— говорил себе уже вдохновенно Ульянов,— да, у него пустой от поборов карман. Но... но он, наш мужичок, вместе с тем и несметно богат! Мудростью богат народной, мудростью!..» И заключал: «Вот это богатство свое, которого уже никакие генералы не в силах отнять, мужик и положит полной пястью на школы!»

* *
*

— Поздравляю, Илья Николаевич, поздравляю! Вот и Николай Александрович присоединяется!

Ульянов обернулся и, не без труда оторвавшись от работы, встал навстречу щегольски, уже по-летнему одетым посетителям.

На пороге Назарьев. Улыбается с таким видом, что вот-вот преподнесет сюрприз. Сюрпризом оказался его спутник.

— Привел и представляю вам, Илья Николаевич, нашего нового председателя уездного училищного совета: Николай Александрович Языков.

Короткая церемония знакомства — и Назарьев, сделав знак своему спутнику и заставляя его преодолеть неловкость, по-дирижерски взмахнул руками. И оба — речитативом:

— С но-во-рож-ден-ным!..

— Садитесь, милости прошу, садитесь, — засуетился Илья Николаевич, счастливый принять поздравления и в то же время смущенный тем, что гости застигли его в канцелярии, где и попотчевать-то нечем.

— Илья Николаевич! Да мы же не в гости к вам! Мы с Языковым Николаем Александровичем — за умом-разумом!

Все трое сели, но Ульянов решительно был еще не способен к деловым разговорам. Напомнили о сыне — и лицо его осветилось, ярко и необыкновенно, как бы отражая сияние самой души этого нежнейшего человека и отца.

— Как нарекли? — поинтересовался Назарьев.

— Владимиром.

Гости, как в таких случаях принято, пустились в рассуждения о будущности новорожденного. Старались говорить счастливому и гордому отцу только самое приятное, особое значение усматривая в том, что у младенца Владимира в пращурах такие яркие личности, как Владимир Красное Солнышко, Владимир Мономах...

Илья Николаевич рассмеялся:

— Пока что наш Володя — молодец поесть, как свидетельствует жена. Полагаю, что для его полуторамесячного возраста квалификация вполне достаточная!

Наконец приступили к делу. Ульянов разложил на столе материалы своего зимнего объезда губернии; все было проанализировано, приведено в систему. Касалось ли дело набора учеников для предстоящего учебного года; недостатка и слабых знаний учителей; ремонта школ или строительства новых — на каждый случай Илья Николаевич заготовил сшивку листков, обозначив титулы каллиграфической надписью.

Бери сшивку в руки — и вот тебе план действий!

Было чем восхититься. Столь тщательной подготовки работы в объеме всей губернии и на годы вперед, в чем бы она ни заключалась, ни Назарьев, ни Языков в губернских учреждениях еще не видывали; даже возможности такого труда не представляли себе.

— Жажду высказаться! — не утерпел Назарьев. И — к Языкову: — Перед вами, Николай Александрович, два бывших студента — математик и юрист, оба кончили в Казанском университете, однокашники, к тому же почти ровесники... Но как же это получается у альма-матер: один стал строителем жизни, другой — всего лишь ее, жизни, поглощателем?

Все трое рассмеялись.

— Но умолкаю,— спохватился Назарьев, заметив, что отвлек приятеля от работы его с Ульяновым.— Следую премудрости Козьмы Пруткова: «Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану!»

— Имеются обнадеживающие сведения из казначейства,— сказал Ульянов,— приток взносов продолжается...— Он приподнял со стола, всю в печатях, казначейскую справку и улыбнулся Назарьеву:

— Вы необыкновенно щедры, Валериан Никанорович: 235 рублей! Сердечно вам признателен.— И Ульянов с чувством пожал руку просиявшему жертвователю.

Назарьев, подавляя смущение, со смехом:

— А это, Илья Николаевич, не вольнодумство с моей стороны? Перекрыл самого губернатора?

— Да, вы перекрыли графа. На целых пять целковых! Но это доброе вольнодумство, Валериан Никанорович. Побольше бы в губернии таких вольнодумцев!

Назарьев открыл свое намерение: в соседнем с его усадьбой селе — школа; хотелось

бы поднять ее до уровня современных требований.

Илья Николаевич придвинул к себе счеты.

— Жалованье учителю... Не поскупимся, Валериан Никанорович, на учителя хорошего...— И под его пальцами щелкнули костяшки — сто рублей.— Книги для чтения... Насколько помнится, там нет школьной библиотеки... Для начала положим рублей двадцать...— Опять щелкнули костяшки.— Обновление инвентаря, учебные пособия, содержание сторожа, дрова на зиму, керосин для освещения...— называл Ульянов статьи расхода, а костяшки, звонко щелкая, вели им счет. Наконец показали сумму.

— Итак,— объявил Ульянов,— школа в селе Ново-Никулинском обретает достойное будущее.

— Возьмите ее под свое крылышко, Илья Николаевич!

— Всенепременно, Валериан Никанорович.

Тут заявил о себе и Языков. Он вынул деньги, пересчитал — и сконфузился.

— Даже на содержание одного учителя не хватит,— пробормотал он.— Но, может быть, как первый взнос?.. Здесь семьдесят пять рублей, разрешите, Илья Николаевич, я их внесу в казначейство?

— Соблаговолите, Николай Александрович, и примите благодарность.

Ульянов был рад познакомиться с Языковым. Память его сердца хранила образ Языкова-поэта. В звучании языковских стихов

гимназисту Ульянову слышался гимн отечеству и свободе, и он с восторгом заучивал их наизусть.

— Вероятно, родственники? — поинтересовался он у гостя.

Так и оказалось.

Илья Николаевич развернул на столе чертеж школьного здания.

— На ваш суд и усмотрение, господа!

— Илья Николаевич,— воскликнул Назарьев,— вы положительно неистощимы! Так и сыплете на наши бедные головы новинку за новинкой!

Языков осторожно заглянул в чертеж; мало что понял в нем и спросил:

— Это у нас в земстве изготовили, в строительном отделе?

Ульянов усмехнулся:

— Пробовал туда обращаться. Но земцы школьным строительством гнушаются. Мудрствуют над чем-то более значительным.

— Так откуда же этот проект?

— Мой собственный.

Языков и Назарьев переглянулись, озадаченные. Удивительнейший человек пришел к ним в губернию: ученый педагог и организатор, математик, физик, а теперь открывается, что он еще и архитектор-строитель!

В проекте — сельская школа. Илья Николаевич позаботился о том, чтобы в классе, рассчитанном на определенное число учащихся, было бы достаточно, в соответствии с научно-гигиеническими нормами, света и воздуха; чтобы зеркало печи излучало тепло со-

размерно помещению и потребностям детского организма; чтобы удобен был вход, а на случай пожара и безопасный выход.

Учитывая скудость земской кассы, здание школы запроектировал одноэтажное, деревянное. К проекту были приложены расчеты строительных материалов, рабочей силы и денежная смета.

— Прошу обратить внимание на форточки в окнах. За форточки костьми лягу! Это же бедствие — во всей губернии школы без форточек. Представляете: дети на протяжении школьных часов закупорены в классе. Сидят на уроке вялые, порой в полуобморочном состоянии. Одобряете, господа, форточки?

Проект понравился.

— Не сомневаюсь, что мы утвердим его на училищном совете,— сказал Языков.— Да заодно и пристыдим наше земство. Этакие бездельники!

— Я уже голосую! — подхватил Назарьев.

Илья Николаевич не упустил случая пошутить:

— Здесь Валериан Никанорович ссылался на Козьму Пруткова. Означенный Козьма высказался и так: «В спертом воздухе при всем старании не отдышишься». Не ясно ли, что сей светлый ум тоже был озабочен устройством форточек?

* *
*

Накопились деньги на закладку первых двух-трех школ. Илья Николаевич готовился к выходу на строительную площадку, как к

празднику. Приготовил серебряные рубли, чтобы по обычаю кинуть монету в яму, «посеребрить» фундамент.

Новая школа! Все, все здесь должно быть обновленным, свежим и светлым. Ей предстоит маяком подняться среди окрестных старых, захудалых школ! А огонь маяка — зажечь учителю...

«Где же он, наш маячный?» — Илья Николаевич задумался.

В губернии есть толковые и знающие учителя. Но не срывать же с места старых педагогов. Укреплять вновь создаваемые школы, разоряя крепкие старые? Да что это — тришкин кафтан? Другое дело — направить к ветеранам учеников в должности помощника учителя. Попробовать, что из этого выйдет...

Не оставляя заботы о новых школах, Илья Николаевич принялся спасать женские училища, до которых еще не добрался Мамай из Симбирского уезда (подобные ему мракобесы водились, впрочем, и в других местах губернии). Но как же их спасти — эти запущенные, жалкие подобия учебных заведений, которые уже порой ничему не способны были научить ребенка? Все меньше становилось в них учащихся, разбегались учителя... Однако кто-то же создавал эти очажки женского образования в деревне; были подвижники — земной им поклон,— что заботились о них, оберегали от мертвящей руки всяческого рода начальствующих угрюм-бурчеевых... Да как же можно гасить эти очажки!

Объединить, присоединив женскую к муж-

ской! Учителя-ветераны дружно поддержали эту реорганизацию. Смелые действия инспектора и в училищных советах, которые заметно обновились, нашли понимание. Сам же Илья Николаевич радовался за каждую девчушку, попадавшую теперь в руки хорошего педагога.

Однако где же все-таки учителя для новых школ? Да и только ли для новых? Во многих случаях к учительскому пюпитру, как и прежде, встает бог знает кто!

Существовали учительские семинарии. Воспитанники их пользовались репутацией людей грамотных, педагогически подготовленных. Но во всей губернии инспектору Ульянову повстречались всего четыре учителя из семинаристов. Двое выдержали инспекторскую проверку, а двоих других Илья Николаевич на месте отстранил от должности за пьянство.

Семинаристы оказались птицами залетными — кончали кто в Казани, кто в Нижнем. И Илья Николаевич первым делом стал хлопотать об учреждении местной, симбирской учительской семинарии. Однако когда такая будет? Семинарию удалось открыть лишь в конце 1872 года, а учителей она начала выпускать, естественно, много позже.

Поэтому с первых же месяцев своей инспекторской деятельности Илья Николаевич стремился использовать любую возможность для подготовки учителей. В Симбирске, при городском уездном училище, обнаружил учительские курсы — и тут же принял участие в их работе.

Это было в марте 1870 года; а в июле покатил в Сызрань, где в согласии с местным училищным советом устроил летние педагогические курсы. Помещики господа Воейковы пригласили инспектора Ульянова и его курсантов собираться при своей фабрике, на «фабричных выселках», предоставили и ночлег.

Расширяя и расширяя подготовку учителей, Ульянов пришел к идее учительских съездов. Убедил губернатора поддержать его перед попечителем округа.

Первый учительский съезд Илья Николаевич решил провести в Сызранском уезде. Господин министр утвердил для съезда десять дней зимних каникул: с 28 декабря 1871-го по 6 января 1872 года. Попечитель округа, однако, забеспокоился, как бы съезд, созываемый в провинциальной глуши, не превратился в антиправительственное сборище, и предостерег Ульянова: «Только под непосредственным вашим наблюдением, по составленной вами и утвержденной мною программе».

В. Н. Назарьев дал с натуры картинку съезда (правда, уже не Сызранского, а своего Симбирского уезда): «Слух о съезде, вскоре задуманном Ульяновым, вызвал неописанное волнение между нашими сельскими педагогами, а в начале сентября, если не ошибаюсь, 1873 года к Симбирску потянулись разнообразные тележки и брички с законоучителями, учителями и учительницами, стремившимися на съезд... На следующий день зало мирового съезда преобразилось до неузнаваемости:

...в углах размещены деревья всех существующих в нашей местности пород и образцы всевозможных хлебов, а на возвышении... учебные пособия. Первые ряды стульев были заняты учениками народных школ... За ними устроились представители нашего высшего и среднего общества, привлеченного отчасти модой, отчасти искренним сочувствием к делу народного образования...

Съезд открылся уроками законоучителей... Дошла очередь и до сельских педагогов. Каждый из них робко вступал на возвышение, становился предметом общего внимания и наблюдения, сотни глаз жадно следили за общим ходом урока. Затем... завязывались споры и объяснения, тянувшиеся до тех пор, пока не составлялось общее мнение, которое формулировалось одним из более даровитых учителей. Все носило на себе отпечаток небывалого одушевления и лихорадочного напряжения, обсуждение уроков становилось все живее и живее: выяснились главные положения педагогики и лучшие приемы обучения грамоте и счету.

...Последний день съезда приходился на праздник... Еще до обедни толпа учителей со своим инспектором и одним из членов совета направилась к телеграфной станции. Здесь Ульянов познакомил их с законами электричества, а после обедни им же показал физический кабинет военной гимназии. Больше и показывать было нечего в нашем городе...»

Илья Николаевич составил о первом съезде отчет — и не только для архива попечителя

округа. Ему хотелось возможно шире распространить материалы съезда среди учительства губернии. Но поскромничал Ульянов — испросил разрешения напечатать всего 50 экземпляров. Заказ был выполнен в Казани, в университетской типографии.

Учительские съезды стали ежегодными. Откликаясь на потребности то одного уезда, то другого, Ульянов каждый съезд проводил лично, с серьезной подготовкой. А отчеты печатались и распространялись все в больших тиражах...

Илья Николаевич получил с почтой из Казани подарок. Это была тонюсенькая, в синей обложке, книжечка. Под обложкой, на титульном листе: «И. Яковлев. Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки. Казань. В губернской типографии. 1873». Все 32 странички букваря исполнены от руки, а затем, видимо, отпечатаны с камня. И понятно почему: взяв за основу русский алфавит, Яковлев вынужден был русские буквы, чтобы приспособить их к чувашской фонетике, испещрить различными значками, а в наборной типографской кассе вновь изобретенных литер, разумеется, не нашлось.

Илья Николаевич, перелистывая книжечку, называл вслух чувашские слова, сверяясь с яковлевской их транскрипцией.

«Хорошо и просто!» — заключил он и написал Яковлеву в Казань: «Я получил вчера экземпляр Вашей книжки. Очень рад за Вас, что она окончилась печатанием, постараюсь употребить со своей стороны возможное со-

действие распространению ее в чувашских школах...»

Кто же такой Яковлев? Ученый-лингвист? Нет, всего лишь студент Казанского университета. Но талантливый самородок. Вспомнился Илье Николаевичу 1869 год. Прибыв на службу в Симбирск, он оказался свидетелем прелюбопытного случая. Гимназист-семиклассник чуваш Ваня Яковлев, не спросясь начальства, устроил чу́вашскую школу; здесь же, в Симбирске, на частной квартире. Себя определил учителем, да и директором заодно. Твердой программы не было, занятия подчас велись по вдохновению.

Труднее было переносить голод. Ваня прямо-таки метался по городу, набирая уроки, только бы накормить свою ватагу.

Про удивительную школу прознали в городе. Нашлись жертвователи. Затем некоторых ребят определили в городское уездное училище. Но пять-шесть человек еще оставались в яковлевской «домашней школе». Сам Яковлев, окончив в 1870 году с золотой медалью гимназию, уехал в Казань, в университет. А чувашскую школу в ее зародыше бережно принял в свои руки инспектор Ульянов.

По окончании университета Иван Яковлевич Яковлев возглавил существовавшую уже официально Симбирскую чувашскую школу. При содействии Ильи Николаевича, он был определен инспектором чувашских школ в Симбирской и смежных с ней губерниях. Яковлев восторженно полюбил Илью Николаевича, и они навсегда остались друзьями.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сохранились документы, читая которые, как бы обозреваешь обширную деятельность Ильи Николаевича Ульянова. Это его ежегодные отчеты. На титуле официальное: «Отчет о состоянии начальных училищ Симбирской губернии». Но речь Ульянов ведет не только о «состоянии» за какой-либо год; эта часть отчета исчерпывающе освещена статистическими таблицами. Под титулом «отчета» заключен научно-исследовательский труд — страстный, полемический, опирающийся (разумеется, анонимно) на идеи Чернышевского (например, о роли в воспитании детей наук общественных), Чернышевского и Добролюбова (об обучении детей каждой национальности на родном языке); Чернышевского и Добролюбова, Песталоцци и Ушинского о том, что обучение ребенка и его воспитание — процесс единый; мало того, учитель, какой бы предмет он ни преподавал, должен быть прежде всего умелым воспитателем.

Эту мысль, подтвержденную собственным педагогическим опытом, Ульянов в одном из отчетов выразил так:

«В хорошо организованных училищах и у преданных своему делу учителей не встречается надобности употреблять какие бы то ни было меры взыскания с учащихся, потому что последние любят и уважают своих наставников и не позволяют огорчать их каким-нибудь поступком».

Неизменно чутким, внимательным, заботливым был Ульянов и к подчиненным; в каждом он уважал достоинство человека — явление совершенно необычное для чиновническо-бюрократического строя его времени; и люди, не видавшие в жизни ни крупицы внимания со стороны начальства, платили Ульянову за его заботы преданностью и беззаветным выполнением долга.

Однако Илья Николаевич ценил в каждом прежде всего практическую деятельность. Вот Языков — новый уездный председатель. Правильно начал: заставил земцев раскошелиться, и теперь ассигнования на школы по Симбирскому уезду составляют не злосчастные 100 рублей, а в пятьдесят раз больше: 5000. Это уже деньги. За Языковым потянулись и другие...

Годовые отчеты Ульянова... Это как бы отпечаток шагов — неторопливых, полных раздумий, порою тревог, но не ведающих усталости; ибо это шаги человека со светильником в руках.

Шли годы...

* *
*

— Ваше превосходительство, может быть, все-таки отдохнешь?

Мария Александровна предложила мужу стакан свежезаваренного чая. Илья Николаевич, оторвавшись от работы, принял чай и жадно отпил глоток. Пробормотал, смакуя:

— А какой ароматный!..— И еще отпил.

— Мерси, ваше превосходительство! — И рассмеялся.

Мария Александровна имела строгий вид: пришла с намерением решительно вытащить мужа из-за стола. Но смех его, в котором была непосредственность ребенка, всегда обезоруживал ее. Смягчилась и только сказала:

— Илюша, а ты знаешь, что время уже за полночь?

А он беспечно:

— Подумать только, куда мы с тобой, Маша, забрались — в генералы! Даже оторопь берет: пге-во-схо-дительство! Пгево... Даже выговорить толком не могу это пышное величание!

— А я горжусь! — И Мария Александровна приосанилась: — Горжусь твоим высоким чином и орденом горжусь. Свое, заслуженное... Но бог с ними, с этими чинами-орденами! Ты работаешь, Илья, сверх всякой возможности. Я извелась с тобой...

— Машенька! — Тут Илья Николаевич лукаво прищурился.— А ведь ты чуточку опоздала отрывать меня от стола. Я уже сам

оторвался...— И он возгласил торжественно: — Финис коронат опус!

Мария Александровна, обрадовавшись, всплеснула руками:

— Закончил? Да неужели?

Илья Николаевич, притворно важничая, выпятил губы и расправил усы; пропустил сквозь кулак бороду.

— Уй, мадам! Отчет за полное десятилетие!

В почерке, говорят, отражается характер человека. Написанное Ильей Николаевичем доступно для прочтения каждому. И сколь бы быстро он ни писал, каждая буква под его пером получала полное завершение: ни обрывов штриха, ни модных в его пору писцовых завитушек... Неколебимо стойкий почерк! Единственное, что вносила в него скоропись,— это разбежистость и более стремительный, чем обычно, наклон букв вправо.

Илья Николаевич, собрав листы, выровнял стопку, постучав нижним ее обрезом о стол.

— Вот и все, Маша.— Он подписал отчет.

— Вижу и поздравляю. Только мне непонятно, зачем ты спросил крепкого чаю, если работа закончена? Чтобы испортить себе сон?

Илья Николаевич повинно опустил голову.

— Прости, что не дал тебе спать. Но мне так недоставало тебя — именно сейчас, в эти полуночные часы. Ведь завершился труд десятилетия — это наш с тобой совместный юбилей!

В кабинете царил зеленый полумрак. Свет настольной керосиновой лампы был сосредо-

точен на письменном столе, да на потолке светился дрожащий кружок, отражая горение фитиля.

— Значит, посиделки? — улыбнулась Мария Александровна и принесла рукоделие.

Сели на кушетку. Краем своим кушетка попадала в освещенный круг, и Илья Николаевич увидел лицо жены как бы освобожденным от зеленой вуали: вблизи и с полной ясностью.

И на нем — печать десятилетия, трудного, полного забот о куске хлеба и о детях. Вот этого самого десятилетия, юбилейного...

Илья Николаевич усмехнулся иронии жизни. Но чтобы не выдать поднявшегося в нем чувства горечи, поспешил отвлечь внимание жены на себя.

— Маша, а ведь я старик!

В голосе — совсем не к месту — прозвучало некоторое удовлетворение, и это рассмешило Марию Александровну.

— А я, Илюша, и не знала, что ты умеешь перед дамами кокетничать!

— Полтина лет миновал,— сказал он уже в суровом раздумье.— Это я от одной старой чувашенки услышал. Взглянула на меня оценивающе — и не ошиблась ведь. Как раз на будущий год мне — полтина...

— Ну что ж, и отпразднуем! — с веселой беспечностью сказала Мария Александровна.— И не только вишеньем!

В фруктовом саду, что Ульяновы приобрели вместе с домом, на Московской улице,

Мария Александровна облюбовала вишневое дерево, которое для всей семьи, включая самых маленьких детей, стало заветным. Никто не позволял себе сорвать с этого дерева хоть вишенку: ведь это подарок папе ко дню рождения. Дерево немного перестаивало — его не трогали до 14 июля. Но зато каким праздником было не только для отца, но и для детей, когда расставляли четырехногую лестницу и в корзину начинали сыпаться ягоды.

— И не только вишеньем отпразднуем! — возгласила Мария Александровна.— Мы с тобой еще и потанцуем в день твоего пятидесятилетия, Илюша!

— Всю жизнь не дрыгал ногами, а тут, видимо, придется! — со смехом согласился Илья Николаевич.

— Браво, Илья, браво! Быть может, мы наконец, и домашнюю кадриль составим? — И Мария Александровна принялась загибать пальцы на руке:

— Аня и Саша — первая пара. Оля с Володей — неразлучные друзья — вторая пара. Митя и Маняша...

— Ну уж и Маняшу... с соской-то! — выразил Илья Николаевич сомнение.

Мария Александровна, смеясь, покачала головой:

— Ах ты, ученый мой математик! Посчитай-ка: с шестого февраля позапрошлого до четырнадцатого июля будущего — что это составляет?

Илья Николаевич — с радостным изумлением:

— И вправду... без месяца три с половиной годика будет... Можно приглашать на танцы!

Мария Александровна, присчитав Маняшу, загнула пальцы левой руки и дополнительно — палец правой.

— Как видишь, три пары. А чтобы состоялась кадриль, необходимо четыре...

Илья Николаевич, надувая щеки и сквозь зубы пофукивая, изобразил играющий оркестр.

— Медам...— И он повел рукой, обращаясь в пространство: — Месье... Авансе!.. Ретурне!..

— Шанже во пляс! — в тон ему, смеясь, добавила Мария Александровна. И тут же напомнила:

— Но ведь я осталась послушать отчет, Илюша.

Илья Николаевич встал с кушетки. Потрогал стопку листов на столе.

— Неужели все это читать? — Он сделал кислую мину.

— А ты расскажи самое для тебя важное. Это и мне будет интересно.— В руках Марии Александровны уже бойко поблескивал вязальный крючок.

— Итак...— Илья Николаевич прошелся по кабинету,— обозревая минувшее десятилетие, я прежде всего спросил себя: а удалось ли нам, деревенским просвещенцам, повернуть симбирского крестьянина лицом к школе? Затвердилось ли в его сознании, что грамотность детей весомее хозяйственного гвоздя?.. При-

знаюсь, вопрос этот я исследовал не без волнения...

— Я жду цифр,— отозвалась Мария Александровна. Она знала пристрастие мужа к математическим расчетам и в поощрение ему улыбнулась.

— Готова поскучать? Хорошо. Но до цифр еще надо добраться! А допреж того — ну, никак не миновать Ермилу Мельника! Помнишь:

И чудо сотворилося —
На всей базарной площади
У каждого крестьянина,
Как ветром, полу левую
Заворотило вдруг!

— Илюша! — сказала Мария Александровна неожиданно сурово,— обожди с Ермилой Мельником. Я хочу знать правду. Не все так весело и песенно в твоей работе... Заходили в твое отсутствие Назарьевы. Сидели в гостиной, музицировали... И знаешь, меня как мороз по коже, когда Валериан Никанорович стал рассказывать, каково тебе достается в деревнях. Распинается, говорит, на сельских сходах богатых торговых селений, среди равнодушной толпы мироедов, выпрашивая гроши, ведет непрестанную войну с разжиревшими и глумящимися над ним волостными старшинами, писарями и плутами подрядчиками...

— Маша! — нетерпеливо перебил Илья Николаевич,— но ведь это же литератор, он сгущает краски! Да и от жизни, вижу, поот-

стал. На первых порах еще случалось со мною нечто похожее, но в последние годы... В самом деле, лучше обратиться к цифрам.

Но, посмеиваясь, продолжал:

— И несут и несут на сиротскую Ермилову мельницу, сиречь на школы, мужички наши столько медных пятаков, целковиков, лобанчиков, прожженной, битой, трепаной крестьянской ассигнации, что счет идет ежегодно уже на сотни тысяч рублей серебром!

Мария Александровна даже вязать перестала. Она любовалась мужем, радовалась за него. А Илья Николаевич, не удовольствовавшись словами, еще и кинул на счетах сумму: он любил дружное щелканье костяшек, из-под пальцев его они летели со звоном.

— В общей сложности,— заключил Илья Николаевич манипуляции на счетах,— средства на содержание школ возросли за десятилетие в три с половиной раза. Основные, как и прежде, из крестьянского кармана, но и земство усовестилось и городские общества — в шесть раз расширили они школьные ассигнования; в семь раз возросли частные пожертвования...

— С подписными листами, кажется, особо преуспевает госпожа фон Гольц? — вставила Мария Александровна.

— Не только. Но и ее в числе других я уже неоднократно поощрял благодарностью в печати.

Особенной гордостью Ильи Николаевича стали новые школы. За десятилетие он построил 151 школьное здание. Учебный про-

цесс в новых школах поставлен образцово; как ему и мечталось, зажегся свет маяков, столь необходимый для школ, что еще блуждают отягощенные грузом схоластических пережитков. Новые школы в огромной степени помогли Илье Николаевичу держать на уровне современных педагогических требований всю школьную сеть губернии.

Общее число школ за десять лет уменьшилось: было 460, стало 423. Однако разница в том, что цифра «460» была дутой, а теперь каждая из 423 и существует, и живет полнокровной жизнью.

Учащихся в начальных школах губернии числилось в 1869 году 10,5 тысячи. Но сколько из них фактически училось? Даже инспектору Ульянову выявить этого тогда не удалось. Но по своей беспредельной скромности он показал в юбилейном отчете прирост от официальных 10,5 тысячи. Получилось всего лишь 50 процентов.

В заботах об учителях Илья Николаевич проявлял не только здравый смысл начальника и организатора: «Больше людям дашь — больше с них спросишь». Нет, все, что он делал для сельского учителя, исходило прежде всего из движений его души, прекрасной в своих бескорыстных порывах.

«Вознаграждение учительского труда в среднем числе утроилось»,— скромно отмечает он в отчете за десятилетие. А ведь достижение — масштаба огромного. Мало того, Ульянов добился для учителя человеческого жилья на селе, права на отдых, на больнич-

ную помощь от земства. Заключив все это в скупую строчку: «Нельзя не признать, что в течение десятилетия все-таки достаточно сделано для улучшения быта учителей», Илья Николаевич тут же, зная, что отчет будут читать не только в округе, но и в министерстве, выдвигает перед правительством и общественными учреждениями целую серию новых настоятельных просьб.

Симбирский директор обеспокоен тем, что, как он пишет, «положение народного учителя ничем не обеспечено в будущем: не щадя сил, ни здоровья при исполнении своих нелегких обязанностей, он и к концу своей нередко 30-летней службы остается без всяких средств». Следует учредить пенсии, и Илья Николаевич подсказывает земству, что обеспечить престарелых учителей можно без дополнительных источников средств: всего лишь путем упорядочения денежного земского хозяйства. Проект кладется под сукно. Симбирская губернская земская управа замышляет для своих служащих эмеритальную кассу; Илья Николаевич уже тут как тут со списком учителей. Эмеритальная касса — это, в сущности, копилка на черный день: средства кассы образуются из отчислений от жалованья ее участников. Умрет человек на службе или вынужден по нездоровью выйти в отставку — касса выручает: накопленные деньги выдает в виде единовременного пособия семейству.

«К сожалению,— замечает Илья Николаевич,— проект этот пока еще не приведен к исполнению». Сын или дочь из семейства учи-

теля, окончив местную школу, порой стремятся продолжить образование. Но учитель, по наблюдениям Ульянова, «крайне затруднен» в этом.

И снова и снова Илья Николаевич взывает к министрам и земским деятелям...

— Машенька,— вдруг спохватился Илья Николаевич,— ты не устала?

— Кажется, Илюша, лампа устала.

В самом деле, свет в кабинете заметно сник, керосин в лампе выгорел.

— Знаешь, о чем я подумал? — сказал Илья Николаевич, зажигая свечу.— Луке-то Лукичу так и не довелось пожить на настоящем учительском жалованье...

Мария Александровна прервала мужа, сказала строго:

— Но не расстраивайся, пожалуйста. Я знаю, чего тебе стоило пережить эту страшную весть... Но что ты можешь еще предпринять для облегчения судьбы этого несчастного мальчика?..

Илья Николаевич опустил голову. Губернатор только накричал на него: «Вот пожалуюсь вашему министру, что вы осмеливаетесь защищать государственных преступников! В который это уже раз?..»

Да, Лука Лукич не единственный из учителей, кого схватили жандармы... И с губернатором, и с прокурором у Ильи Николаевича уже напряженные отношения.

Мария Александровна с некоторых пор пугалась самого упоминания имени Луки Лукича. Не надеялась на себя: ужасно, если

Илья Николаевич прочтет на ее лице или уловит в интонации ее голоса то, что она поклялась себе никогда не говорить мужу. Да и зачем было ей самой знать о подлом предательстве фон Гольцев, теперь как камень на сердце... Но проговорился милейший Валериан Никанорович. Вращается он в своих судейских кругах, а там известна подноготная каждого судебного процесса... Будучи в Петербурге лейб-гусаром, этот прибалтийский барон стал знаться с «голубыми мундирами» (то есть жандармами), за что и вылетел из полка, потому что среди офицерства считалось дурным тоном даже руку подавать «голубому». Но, обосновавшись помещиком, барон не изменил своим симпатиям и в охотничьем азарте гонялся вместе с жандармами за политическими. Напав на след нечаевца Луки Лукича и обнаружив, что это один из любимых учителей ненавистного Ульянова, лейб-гусар возликовал вдвойне: и как удачливый охотник, и как супруг, делающий жене приятное для нее и оригинальное преподношение. В ее небесной голубизны глазах блеснули огоньки торжества: этот Ульянов будет знать, как соваться не в свое дело!

Напрасно, напрасно Назарьев вытащил на свет всю эту гадость. Мария Александровна сердилась на Валериана Никаноровича и делала усилия над собой, чтобы выбросить из памяти его доверительный рассказ.

— Илюша! — воскликнула Мария Александровна.— Я восхищена тобой! Успехи твои за десятилетие прямо-таки необозримы.

Юбилейная ночь... Я рада, что ты не позволил мне ее проспать.

Илья Николаевич оживился:

— Знаешь, Машенька, а я чувствую совсем другое. Мои руки еще только тянутся к настоящему делу. Десять лет ушло — такое у меня ощущение — на черную подготовительную работу. Корчевал пни, убирал плевелы, вспахивал почву... А посев еще только предстоит, и дух захватывает, какой ожидает нас урожай! Название ему — обязательное обучение, всенародная грамотность!

Он заходил по кабинету, в волнении высказывая, как видно, мучившую его мысль:

— Хоть бы еще пяток лет мне, большего и не прошу... Я еще только развернул строительство, но еще не построил потребного количества школьных зданий. В Буинском, Курмышском, Алатырском уездах классы переполнены учениками, это вредно сказывается и на здоровье детей, и на успеваемости. Больше половины учителей не имеют еще даже среднего образования. Да и жалованьем иные из них еще обижены... Словом, мне в моей дирекции еще трудов да трудов! Как знаешь, подал ходатайство, но поймут ли меня в министерстве? А вдруг за выслугой лет прогонят на пенсию!

Остаток ночи они просидели на диване, прижавшись друг к другу, но каждый со своими мыслями. Невеселые они были у Марии Александровны; страдала за мужа: эта исступленная работа — разве она в человеческих силах?

* *
*

— А поворотись-ка, сынку! — говорил Илья Николаевич, оглядывая стоявшего перед ним крепенького, со здоровым румянцем мальчика в новеньком гимназическом мундире.

Володя был взволнован. Надел мундир — и сразу почувствовал, что в его жизни открывается для него что-то большое, новое. Ему тут же захотелось, чтобы это большое и новое стало хорошим, и он пытливо всматривался то в отца, то в державшую его форменную фуражку мать: ведь они-то видят дальше и лучше, чем он в свои девять с половиной лет!

Мать улыбнулась ему, а отец ободряюще потрепал его по плечу. И румянец на щеках мальчика вышел из берегов, расплескавшись по лицу, брызнув багрянцем и на лоб, и на уши. Он звонко рассмеялся, счастливый.

Отец, любуясь сыном, отступил на шаг, чтобы оглядеть его с головы до ног.

— Цур тебе,— кинул он весело,— какой ты...— И запнулся: набегало не подходящее к случаю слово. Но миг — запинка преодолена, и он закончил: — ...Какой ладный!

Мальчик, только что беззаботно смеявшийся, стал серьезным. В живых карих глазах недоумение:

— Папа, как же ты ошибся? Ведь надо не «ладный», а «смешной».

Илья Николаевич, вступая в спор с сыном и заранее восхищаясь логикой мальчика, улыбкой пригласил жену послушать их.

— Володя,— возразил он,— но ты-то не смешной. Это было бы неправильно сказать. Да и я ведь не Тарас Бульба.

Мальчик подумал и сказал твердо:

— Папа, если по Гоголю, то и надо по Гоголю. А если по-твоему, то по-твоему.

Отец порывался было продолжить это состязание в остроумии и находчивости. Но мальчику пора в гимназию, и Мария Александровна, тут же, взяв полномочия судьи турнира, объявила:

— Илья Николаевич, сдавайся. Победа за Володей.

Она несколько помедлила отдавать сыну фуражку. Рыжеватый цвет волос мальчика приятно для глаза сочетался с темной синевой мундира.

— Очень, Володечка, идет тебе форма. А в проймах как, не тянет? Подними-ка руку. Опусти.

Посмотрела, как в спине, как в груди... Впервые Володя оделся не в ее, материнское, шитье. Мундир был заказан портному, и портной не сшил его, а, как там у них принято говорить, «построил»! Грубо как! Словно о доме речь, а не об одежде для мальчика.

Мария Александровна наклонилась и попробовала расстегнуть мундир.

— Боже, какие твердые петли! Пока протолкнешь пуговицу, пальцы можно поломать... А их целых восемь — петель и пуговиц; и зачем столько?

— Мамочка,— солидно заметил Володя,— это же форма. И мне даже нравится их засте-

гивать. Скажу себе: «Делай для пальцев гимнастику» — и застегну.

Отец и мать рассмеялись.

Надев фуражку, мальчик приставил к носу указательный палец; затем, строго придерживаясь вертикали, повел его кверху, нащупывая на фуражке значок.

Тут прогремели ступени внутренней деревянной лестницы, и с антресолей, из своей комнаты, вошел в переднюю Саша, совсем уже готовый, чтобы идти в гимназию.

— Ну-с, коллега,— покровительственно кивнул он младшему брату, который, вскинув на спину ранец, ловил свободной рукой ускользавшую ременную петлю,— справишься с амуницией или помочь?

Но коллега, хотя и малолетний, увернулся от помощи и пристегнул ранец самостоятельно.

Появилась из своей комнаты пятнадцатилетняя Анечка — в коричневом, с черным передником, платье гимназистки, оживленная, изящно причесанная, совсем уже барышня.

Все трое попрощались с родителями, и людно-шумная передняя опустела. Исчезли и тайком заглянувшие в переднюю, чтобы помахать Володе, малыши.

Мария Александровна медленно оторвала взгляд от давно захлопнувшейся двери в сени и на улицу. Подняла глаза на мужа.

— Вот и еще один птенец из-под домашнего крылышка...— И голос ее дрогнул.

— Хорошо, что Володя пошел сразу в первый,— сказал Илья Николаевич.— В при-

готовительном у них особенно много рутины. Обидно за гимназию, но скажу не колеблясь: основы грамоты и счета сегодня в деревне поставлены, за малыми исключениями, лучше, чем здесь, в среднеучебном заведении. Имел случай убедиться.

— Саша у нас умница,— отозвалась Мария Александровна.

Старший мальчик первым в семье заявил: «Не надо Володю в приготовительный. Зря штаны просидит!» И, несмотря на свои двенадцать лет, представил доводы отнюдь не мальчишеские. Отец нашел в них подтверждение собственным мыслям.

Помолчал — и раздумчиво:

— Вступительные испытания Володя выдержал отлично. За его подготовку — спасибо Василию Андреевичу Калашникову и госпоже Прушакевич — я спокоен. А вот как он освоится в новой, непривычной среде? Любит верховодить, а это не всякому может понравиться. Да и вспыльчив. К тому же озорник порядочный...

Мария Александровна вдруг заметила, что они все еще в передней:

— А что же мы стоим, нашли место для разговора! Пойдем хоть в столовую.

И сразу — к швейной машине, за неоконченную работу. Впрочем, работа эта — обшивание детей,— кажется, никогда не кончалась.

— Ты заговорил, Илюша, о новой среде и обстановке, в которую попадает Володя в гимназии. Я разделила бы твое беспокойство, если бы мальчик не выдержал испытания...

— Неужели освоился с новым своим положением? — воскликнул Илья Николаевич, радостно удивленный.— Так быстро? Совсем другой характер, чем у Саши... Ну, расскажи, расскажи!

Мария Александровна помолчала, раздумывая.

— Но это, Илюша, между нами.

— Ах, даже так, тайна? Очень любопытно!

— Не проговорись,— улыбнулась Мария Александровна,— иначе подведем Володиных товарищей. А мальчики славные — два Мити, и оба много старше Володи; Мите Андрееву, например, уже двенадцать исполнилось...

— Весь класс старше Володи,— сказал Илья Николаевич.— Ведь только он миновал приготовительный. Но по развитию наш, уверен, не отстанет.

— Так я, Илюша, о мальчиках. Вошли — и встали, как деревянные, даже голоса моего не слышат. Догадываюсь: потрясены своей дерзостью, что переступили порог генеральской квартиры... Грустно это, что даже детям в их семействах внушается рабское чинопочитание, трепет перед значительными лицами... Но ты бы посмотрел, как расшевеливал их Володя!

Мария Александровна весело рассмеялась.

— Извини, Илюша, к старости я, кажется, становлюсь сентиментальной, но Володей я была восхищена. По-детски непосредственно, весело, с шуточками и в то же время с вашим,

ульяновским, тактом он дал понять своим гостям, что в здешней, хотя и генеральской, квартире живут не какие-нибудь спесивые вельможи, а самые обыкновенные, притом добрые и приветливые, люди.

— Маша,— вставил Илья Николаевич,— но пока я не вижу ничего таинственного. И все-таки хочешь, чтобы я ни гу-гу?

— Слушай же! — И Мария Александровна рассказала, как оба Мити, проникшись к ней доверием, выболтали тайну, скрывать которую, как видно, им стало невмоготу. Мальчики, перебивая друг друга, пустились рассказывать: «Ого, как Володя Ульянов оттузил верзилу из пятого «б»! Его, второгодника, и свои-то боятся, а нам что делать, если он завтраки отнимает? Ведь на экзамен пришли, в первый раз в гимназии... А Володя-то ка-ак... даст ему! Мы все так и завизжали: «На кого пошел, убьет ведь!» Но, глядим, хоть и мал ростом, устоял, держится. И опять ка-ак... Тот уже пушкой грозится. У его отца в имении, слышь, пушка стоит. Настоящая. Хоть и старинная, а, говорят, здорово палит в день именин хозяина. Верзила заорал: «Пушку на тебя нацелю!» — да и ходу...»

— Ай да Володя, вот молодец! — И Илья Николаевич в восторге закатился смехом.— Наказал несправедливость!

— Вот это и должно остаться между нами, Илюша. Володя взял с мальчиков слово: «О битве — молчок!»

Помолчав, добавила:

— Мы его знали домашнего. Да, верховод. Но ведь это — в играх. Поискать такого выдумщика да затейника! И сам весь отдается игре, и других зажигает. От такого верховодства только радость детям! А тут, видишь, от лавров победителя отказался!

Илья Николаевич крепко поскреб в затылке. Что возразить — ведь мать видит ребенка не только глазами, но и проникновенным своим сердцем...

Анна Ильинична, старшая сестра Владимира Ильича, вспоминает: «Ровно в семь часов Володя просыпался сам — его никто никогда не будил. Он тотчас одевался, не позволяя себе валяться в постели. Одевался быстро, как быстро делал все. В одной рубашонке, без курточки — чтобы не запачкать — он чистил зубы, очень хорошо умывался, обтирался по пояс и сейчас же сам убирал постель... Умывшись и одевшись, Володя сейчас же садился за повторение уроков, которые он всегда делал с вечера... Десять минут после чая смирно высиживал, так как мать не позволяла нам сейчас же после чая выходить на улицу, чтобы не простудить горло. Ровно в десять минут девятого Володя вставал, прощался с матерью и отцом, быстро одевался, застегиваясь по форме на все пуговицы, и уходил...»

Но вскоре, и об этом говорится в других воспоминаниях, Володя стал вставать на полчаса раньше: спешил в гимназию, чтобы по просьбе неуспевающих товарищей еще до звонка помочь им в решении задач, а то и по другим предметам. Учеником он был сильным.

* *
*

В гимназии новая программа.

«Как, гимназисты не будут знать химии?..» — недоумевал Илья Николаевич, огорчаясь за Володю.

Настораживающие слухи были. Новый министр просвещения Делянов якобы изрек: «Химия вредна. Ковыряясь в ней, гимназисты могут прийти к ненужным и даже вредным размышлениям». Рассказывали это как анекдот. Но вот Илья Николаевич собственными глазами читает утвержденную министром программу. Нет даже упоминания о науке, раскрывающей перед человеком тайны вещественного мира, в котором он существует. Невероятно!

Между тем Ушинский сказал: «Следует детей до очевидности убедить в существовании газа». А ведь это крупнейший в России ученый-педагог! И в своем учебнике «Детский мир» приводит примеры простейших химических опытов. А ведь речь у него о начальной школе — всего лишь.

Илья Николаевич с горькой иронией подумал: «Благодарение Саше, хоть он спасает химию, устроив себе лабораторию во дворе, в летней кухоньке... Милый мой Лавуазье!»

«Естествознание». Тоже вычеркнуто. Значится лишь в шестом классе, причем в такой мизерной дозе, что Илья Николаевич тут же представил себе министра, который единственно по небрежности не дотянул мертвящего своего пера до рубрики: «VI класс».

Мария Александровна умела занять детей не только играми. Для каждого из шестерых хватало дела — по дому ли, в саду, причем — что очень важно — ребенок сызмальства видел, что труд его рук в семье необходим.

Илья Николаевич со своей стороны вносил в воспитание детей политехнические знания. Еще в 1872 году, будучи участником всероссийского съезда учителей, он привез из Москвы и для школ, и себе, в домашний обиход, ящички-коллекции.

Дети увидели раскрывшуюся коробочку хлопка и в ней белый комочек. А вот тонюсенькие волоконца пошли на веретено, скручиваясь в нитку. Нитка заправлена в челнок, а челнок как пошел бегать взад-вперед в ткацком станке... Под стеклом в ящичке и квадратик готовой хлопчатобумажной ткани.

Анечка, разглядев образец ткани под стеклом, пощупала рубашку на Саше. Ахнула: «И у тебя такая же материя!» Саша пощупал платьице на сестре: «Ага, у нас одинаковая». И оба — стремглав к маме. С тем же намерением поймали и заставили смирно посидеть няню; потом побежали к отцу (то, что он показал детям коллекцию и рассказал о ткацкой фабрике, от обследования его не спасло). Забава, в которую ударились дети, не помешала им заглянуть в большой мир, где трудится пряха, трудится ткач — и не для себя только, а чтобы одеть всех людей...

Таким же образом, через хорошо исполненную коллекцию и увлекательный рассказ

отца, дети получили представление о труде крестьянина-льносеятеля и о льняной фабрике, где искусные руки рабочих делают простыни, скатерти, полотенца... Дивились сметливости человека: вот приглядел особой породы червячка, посадил на лист тутового дерева, и насекомые изготовили ему шелковую нить... На прогулках, спускаясь к Волге, дети видели в руках матросов чалки, канаты. «А как их, папа, делают?» И домашняя политехническая коллекция пополнилась новым ящичком, где было показано производство изделий из пеньки...

Коллекционные ящики принесли пользу. А теперь, когда сыновья и дочери — один за другим — определяются в гимназию, что же, и основы наук развертывать на дому? Домашняя химия, домашнее естествознание... Но ведь это уже нелепость!

Илья Николаевич вновь обратился к гимназической программе.

Для французского и немецкого языков, весьма полезных в жизни, твердого места в новой программе не нашлось: хочешь изучай, не хочешь — как хочешь.

Оказывается, министр не только вычеркивал. Упразднив химию и естествознание, сии вредоносные науки (о, ты, щедринский градоначальник Перехват-Залихватский, живживехонек!), господин Делянов тут же и заполнил образовавшиеся в программе пустоты. Расширил преподавание латинского (49 часов в неделю), ввел греческий (36 часов), на родной русский оставил в неделю лишь 24 часа,

к тому же совместив его с церковнославянским.

Словом, русская гимназия уподоблялась не то некой античной школе, не то средневековой монастырской...

Илья Николаевич владел латынью. Наставил в знании языка Сашу, пришел черед и с Володей сесть за латинскую грамматику. Латынь знать следует, в этом Илья Николаевич убеждался повседневно, читая научную литературу. Однако всему есть мера, и в прошедшей в обществе дискуссии о том, каким быть в России среднему образованию, он безоговорочно стал на позицию Ушинского, который писал: «...изучение языка является лучшим средством духовного развития; но для такого развития выбираем не классические языки, а родной язык и смеем думать, что именно изучение родного языка есть вернейший и прямейший путь к самопознанию человека...»

И отец, и мать видели, как трудно Саше в гимназии, как тяготился он царившими там произволом и мракобесием, и страдали вместе с ним. Но у Саши уже не по-мальчишески тверда воля, он понимает, что учиться надо, и академические успехи его блестящи.

Теперь и Володя — гимназист. И он, увы, дохнет смрадного воздуха...

Но в гимназии Саша — любимый старший брат, и мальчик повседневно ощущает тепло братской руки. А когда Саша кончит, тогда свою правдивость и честность Володе придется отстаивать самостоятельно. Ну что ж, так закаляются характеры!

* *
*

Синяя вывеска — белые буквы:

СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА

Илья Николаевич, Саша и Володя — каждый со своей ношей — поднялись на второй этаж и вошли в опрятную комнату, уставленную книгами.

— Салам! — приветствовал Илья Николаевич библиотекаря-чуваша.

— Салам! — И молодой человек чинно поклонился каждому из троих: — Салам... салам! — На широком, под черным хохолком, лице его заиграла улыбка, выражавшая готовность и счастье служить почетным гостям.

— Никифор Михайлович Охотников — мой коллега, здешний учитель математики,— сказал Илья Николаевич сыновьям.— Но успевает, честь ему и хвала, и библиотекой заправлять.

Саша и Володя на слова отца уважительно кивнули и поставили перед библиотекарем принесенные пакеты. Присоединили и отцовский.

— О, вуламалли кенеке! — воскликнул тот, отступая перед дарами.— Книги для чтения! — И в восхищении приподнял руки и раскинул ладони врозь, как бы сойдя со старинной индийской гравюры.

— Ну полно, полно, Никифор Михайлович...— поспешил Ульянов умерить восторги

молодого человека, хотя и не сомневался в их искренности.— Нумай мар! Не с пустыми же было руками сегодня являться?

Да, они пришли на праздник, и это праздник не только школы, но в не меньшей мере и самого Ильи Николаевича. Школа не дает покоя господам русификаторам, в ней подозревают тайный рассадник сепаратистских устремлений; и не выжить бы ей, не будь у нее такого верного друга и стойкого, бесстрашного защитника, как Ульянов. Сегодня школа отмечает пятый выпуск своих воспитанников. Десятки и десятки юношей-чувашей из глухих деревень, где поклоняются печке, видя в ней обиталище домового духа, сели здесь за парты, получили образование и, возвратившись к своему народу, начинают приобщать его к общечеловеческой культуре...

Саша редко видел отца на людях, тем более в торжественной обстановке, и ему сегодня все нравилось в нем: и глаза, блеск которых отражал душевный подъем; и сюртук, имеющий удивительную способность не стариться, выглядеть всегда свежим; и вишнево-эмалевый крестик ордена Владимира, который красуется сегодня у него на груди...

Саша окончил гимназию, близился день отъезда в Петербург, и ему захотелось сохранить в памяти вот этот, сегодняшний, облик отца. «Хорошего тебе праздника, отец наш — труженик!»

Саша в задумчивой созерцательности.

А Володя не может без дела. Он уже помогает библиотекарю, диктуя для каталога

названия принесенных книг, и сам расставляет их по полкам.

Илья Николаевич, пройдясь по комнате, с любопытством повернулся к окнам:

— Э, да у вас, я вижу, обнова, Никифор Михайлович! Это к празднику? — Он остановился, разглядывая занавески. Похвалил работу:

— Чуречe сене, хитре, хитре...

Полотно было действительно редкостным. Казалось, это не полотно даже, а молочно-прозрачный туман застлал нижнюю половину окон.

— Синсе пир? — с видом знатока обернулся Илья Николаевич к библиотекарю.

— Синсе пир! — И в ответ улыбка во весь рот.

Да, занавески были из полотна, которое чувашские девушки ткут себе в приданое, а школе преподнесли по случаю праздника.

Илья Николаевич лукаво посмотрел на сыновей: ему было приятно щегольнуть перед ними умением изъясняться по-чувашски.

Илья Николаевич ушел к устроителям праздника. Саша вызвался сопровождать отца.

А Володю задержал библиотекарь:

— Не торопись, успеем. Вместе пойдем.— И вдруг: — Географию учил?

Володя — пятиклассник. Невольно улыбнулся:

— Учил, конечно.

Но библиотекарь невозмутим:

— Какую, скажи.

— И физическую,— ответил мальчик,— и политическую.

Библиотекарь:

— А ульяновскую географию знаешь?

Подвел Володю к карте:

— Тс-сс!..— Тут же предостерег мальчика.— Секрет пока. Илье Николаевичу подарок будет.

На карте — искусно нарисованные малюсенькие зданьица, рассыпанные в местах основных поселений чувашей, мордвы, отчасти татар — в уездах Буинском и Курмышском.

— Школы, открытые отцом! — догадался Володя и загорелся любопытством.— Интересно, все ли я знаю... Только, чур, не подсказывать, Никифор Михайлович, я сам! — И показал на карте: — Ходары, открыта для чувашских детей в 1870-м, моя ровесница! — Показал другую: — Кошки — Ново-Тумбаево, открыта в 1871-м, ровесница нашей Оленьки. Это — родное село Ивана Яковлевича Яковлева, правильно говорю?

Володя продолжал называть национальные школы — а их были десятки,— и библиотекарь замирал от восхищения: «О, тебе и по ульяновской географии надо ставить пятерку!»

Знакомство, как это часто бывает среди молодых людей, вылилось в сердечное взаимное признание.

— Чуваш хочет дружить,— сказал один.— «Дос!» — это у нас самое уважаемое слово. «Дос» — значит друг навечно.

Другой зарделся.

— Это мне нравится — дос!

Постояли, глядя друг другу в глаза.

— Только обряд требуется, клятва,— строго объявил чуваш.— Это мы с тобой, дос, потом...

Володя был взволнован. Уже не слова библиотекаря, а как бы голос самого народа — маленького, но отважного — слышался ему; голос из времен легендарных, о которых порой рассказывал отец, когда шумели священные рощи «кереметн», очаги сплочения разрозненных племен, рождались люди могучих и цельных характеров, вожди и заступники народа в его борьбе за существование, богатыри, для которых дружба, честь, верность были превыше самой жизни. «До-ос...» — звучало у мальчика в ушах. «До-ос...» — пело у него в сердце.

Так встретился Володя Ульянов с Охотниковым. Позже, уже будучи в восьмом классе гимназии, он на деле показал, что верен «досу»: подготовил своего друга, который оказался старше его на десять лет, а окончил всего лишь начальную чувашскую школу, к экзаменам на аттестат зрелости. Охотников поступил в Казанский университет, раскрылся как талантливый ученый, но невзгоды жизни сломили его: еще будучи студентом, погиб от чахотки.

...Небольшой рекреационный зал, предназначенный для отдыха учеников на переменах, сегодня превратился в капеллу.

Все собравшиеся на праздник пели. И это не было случайным соединением голосов, ко-

гда и ритм качается, и в звуках толчея,— пели стройно и красиво.

В ведущей группе Володя сразу приметил отца. Илья Николаевич пел одухотворенно, лицо его выражало наслаждение гармонией звуков.

А снаружи, как поглядеть через открытую на балкон дверь... пестрый табор перед школой: крестьяне и крестьянки, лошади, телеги...

— Сегодня базарный день,— шепнул Володе дос — Охотников.— Кончили торговать, приехали пение послушать.

В веселом ритме хор спел что-то по-чувашски. В толпе крестьян хохот. Переглядки мужчин с женщинами — и опять хохот.

— Это про «хушпу» было.— И Охотников быстрым шепотом рассказал своему досу, что издревле женщина в чувашской семье равноправна с мужчиной, даже пользуется особым почетом. Украшение замужней женщины — хушпу, сложный и богатый головной убор. И вот песенка: высмеян незадачливый муж, который — о позор! — снес хушпу в заклад.

После концерта принимали в школу новых учеников: тут же, прямо из крестьянского табора...

* *
*

Наступил 1884 год... О, надо было иметь силы его пережить!

Январь. Илья Николаевич с удовольствием берет в руки свежую, новогоднюю книжку «Отечественных записок». Журнал

толстый, есть что почитать, но обложка... Да в такую плохонькую желтоватую бумагу здешний колбасник посовестится сосиски покупателю завернуть!.. Илья Николаевич сочувственно вздохнул. Бедствует журнал, за правдивое, смелое слово разоряют его штрафами, конфискациями. А в прошедшем году и вовсе стряслась беда. Напечатали роман «Современная идиллия», а из цензурного комитета нагоняй: «Салтыков-Щедрин старается представить в самом безобразном виде высшее начальство!» И редактор-издатель журнала Краевский получил предостережение, уже второе...

Эти «предостережения» придумал министр внутренних дел Валуев. Видимо, применительно к гарнизонному уставу караульной службы. Часовому, как известно, вменяется при появлении злоумышленника два раза прокричать: «Стой... стой!», а на третий — разить человека пулей.

«Отечественным запискам» господин министр уже дал два предупреждения, и журнал-ветеран с гордой пометкой на титульном листе: «Том CCLXXII» — вступал в 1884 год как бы под нацеленным ему в лоб ружьем...

Илья Николаевич поспешил отогнать невеселые мысли. «В конце концов «Записки» служат истинно интересам отечества!» — вот что, окажись возможность, сказал бы он всем этим недоброжелателям журнала в комитетах и министерствах.

Однако что же в книжке? Илья Николаевич взял костяной нож и принялся разрезать

журнал. Номер открывался пьесой А. Н. Островского «Без вины виноватые».

«Прекрасный новогодний подарок и театру, и читающей публике!» Ознакомившись с содержанием пьесы, он решил прочитать ее вслух в семейном кругу, уже видя, как разыгрывает ее в лицах.

В журнале статья «Крестьянский кредит». Илья Николаевич откладывает нож и спешит устроиться в кресле поудобнее. Этот предмет требует вдумчивого внимания.

«Волостные кассы», «Ссудо-сберегательные товарищества»... Да, да, он слышал об этих учреждениях, получивших развитие после реформы 19 февраля. Гуманнейшая задача у этих касс: помочь крестьянскому хозяйству дешевым кредитом в трудную для него пору.

Илья Николаевич приятно изумлен: капиталище-то у этих касс каков: 13 миллионов, а оборот — в пять раз больше. Вот это помощь!

Но что такое? Почему автор статьи превращается вдруг в гневного обличителя? Оказывается, прошли ревизии — и установили, что кассы бездействуют. Все миллионы давным-давно прибрали к рукам, как выражается автор, деревенские «ловкачи»: и ссуды не возвращают и даже процентов не желают платить. Так что трудящемуся крестьянину на поверку не перепало из миллионов ссудного капитала ни малой крохи...

«Ежегодно,— пишет автор,— осенью, когда происходит «выбивание» первой половины подати, крестьянин вынужден искать денег, чтобы не подорвать хозяйство. Так

бывает и при «выбивании» второй половины подати, когда крестьянин, приевши хлеб, вынужден покупать порой свой же, отданный осенью за бесценок...»

Статья наполнена картинами бедствий крестьянина. Чтобы не разориться, он должен на время призанять денег. И мужику со всех сторон любезности. И бывший крепостной его барин, и народившийся только что деревенский купец, и волостной писарь, и священник — каждый готов удружить пахарю-сеятелю: «Бери, бери деньги, а там, выйдешь в поле — и не заметишь, как должок отработаешь!»

И мужичок — в лапах ростовщика... «Зимние наемки» — назвал свою беду крестьянин, а ростовщика — «живорез». Еще одно новое слово появилось в народном лексиконе: «заложиться».

Автор статьи, привлекая обширный материал из разных губерний, устанавливает, что деревенский ростовщик (барин, поп, лавочник) взыскивает с мужика за ссуду 200—300 процентов и заключает: «Положение кабального крестьянина едва ли не хуже положения крепостного, которого владелец ради собственных интересов должен был поддерживать в известной степени зажиточности, между тем как хозяин кабального не имеет в том никакой нужды...» Тут же справка: правительство открывает льготный кредит в 1 миллиард рублей... однако не крестьянам, а помещикам.

Статья ошеломляла, обескураживала. Илья Николаевич почувствовал, что привыч-

ные его представления о добре и зле вдруг стали чем-то вчерашним и только мешают разглядеть происходящее вокруг, словно на носу у него устаревшие очки.

«Нет, нет! — И все запротестовало в нем.— Это какая-то страшная нелепость! Как можно подрывать силы народа? Это губительно для государства! — И успокаивал себя: — Правительство, вне сомнения, примет надлежащие меры!»

Илья Николаевич ждал, что скажет правительство. И дождался. «Отечественные записки» получили третье, роковое предостережение, и журнал на 46 году своей славной жизни и борьбы умолк навсегда.

* *
*

Конец лета 1884-го. Семья Ульяновых возвратилась из Кокушкина.

Отдохнувший, в отличном расположении духа, Илья Николаевич пришел в свою директорскую канцелярию и... с первого же взгляда на лица сотрудников понял, что в его отсутствие произошло что-то недоброе.

Подавляя тревогу, спросил с нарочитой улыбкой:

— Господа, надеюсь, все здоровы?.. И дома все благополучно у вас?..

В ответ довольно сдержанное «спасибо». Но тут встала из-за стола Лидия Полянская, старший архивист в канцелярии и давнишняя сотрудница Ильи Николаевича. В руках папка входящих. Лицо в красных пятнах.

— Лидочка...— Голос Ульянова упал.— Вы плакали?

Женщина приложила к губам платок и замотала головой:

— Не обращайте внимания. Просто мигрень. Возьмите почту.

Илья Николаевич удалился в свой директорский кабинет.

Первое, что он увидел в папке, была бумага, озаглавленная: «Правила о церковноприходских школах».

— Так-с...— процедил он с огорчением.— Дожили, значит!

Церковноприходские школы — не новинка. В Симбирске было две да шесть в губернии. Содержались они за счет крупных, богатых приходов; в школах распоряжалось духовенство.

В свое время, начиная заново создавать в губернии систему народных училищ, Ульянов взвешивал каждую крупицу местного опыта; заглянул и к церковникам: «Почем знать, может, и у них есть что позаимствовать?»

Вошел в приходскую школу, посмотрел на детей, и сердце у него дрогнуло от жалости. Бледные, с затаенным выражением скорби в глазах или, хуже того, безразличия; наголо, как рекруты, острижены; пугливы, как мыши... Побывал на уроках. Учителя невежественны. Зубрежка, окрики. Разве что на колени ставят по-особенному: не в классе в угол, а водят в храм, чтобы провинившийся отбивал покаянные поклоны на каменном полу... Невольно подумалось: «Угнездился под цер-

ковной крышей дух дореформенной удельной школы... Какой чудовищный анахронизм!»

Илья Николаевич рассказал об увиденном преосвященному Евгению; церковноприходские школы находились под его, владыки, рукой. Разговор этот Ульянов поднял в деловой обстановке, на заседании губернского училищного совета, как член его, перед своим председателем. Казалось бы, тут и потолковать об изъянах в педагогической деятельности батюшек, подумать, как исправить дело.

Но его преосвященство лишь поморщился, словно вкусил уксусу. Потом изрек:

— Мирянам, господин инспектор, не подобает вторгаться в пастырские труды духовенства. Ведайте, пожалуйста, своими светскими школами... Да поможет вам господь!

Какие-то восемь церковноприходских школ на губернию, конечно, не делали погоды. Но вот на столе у Ильи Николаевича бумага из Петербурга. Комитет министров, рассмотрев школьные дела, «мнением положил», что «духовно-нравственное развитие народа не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами».

А вот и «Правила», в коих это мнение претворено.

«Ну что ж,— подумал Илья Николаевич философски,— умы человеческие в мнениях разошлись, но дело ведь решает жизнь, фактор объективный!»

Он не сомневался в том, что сеть церковноприходских школ, буде такую попытаются

создавать, вскорости рухнет. А причина простая: не набрать учеников. Отошли времена схоластики.

Несколько успокоившись за будущее своих школ, Илья Николаевич продолжал рассматривать почту.

Под «Правила», как под крышку, Лидочка положила письма с мест. С одного взгляда, по почеркам, Ульянов узнал своих инспекторов. Их у него было пятеро, соответственно он поделил между ними губернию на пять районов.

Донесение из Сызрани... Илья Николаевич вспомнил с теплым чувством: там воплотилась его идея об учительских съездах. Нынешний 2-й инспекторский район.

«Нуте-ка, господин Аристовский, чем порадуете старика директора?»

А тот доносил, что приходится задерживать жалованье учителям, потому что в школьную земскую кассу запустило руки духовенство из местного церковноприходского училища.

Илья Николаевич возмутился. Но тут же из последующих строк донесения обнаружил, что земцы не только не опротестовали самоуправства местных епархиальных деятелей, но даже узаконили его официальным протоколом.

Только руками развести... В этакой обстановке не сразу и в толк возьмешь, из каких сумм удовлетворить оставшихся без жалованья учителей народных школ.

Донесение из 3-го района. Уезды Алатырский и Буинский.

Инспектор Ишерский с возмущением описывает происшествие в селе Кошки. Волостной старшина и местный священник явились к учителю чувашской школы и потребовали, чтобы тот освободил половину здания: есть, мол, указание, что в Кошках будет открыта приходская школа, а поместить ее негде. Учитель на это возразил, что в школе только комната-класс, да его, учителя, жилье. На него заорали: «Никаких больше чувашских мерзостных языков! Россия православная, и школе тут стоять православной!» Многое из учебных пособий поломано, а половина парт растащена. Перепуганные ребятишки на занятия не ходят. Учитель сидит, запершись...

— Так-с...— гневно процедил Ульянов.— Что дальше? — И он стал выхватывать из почты бумагу за бумагой без всякого порядка.

В кабинет вбежала Полянская.

— Оставьте почту, оставьте... Илья Николаевич, миленький, вы на себя не похожи... Вам плохо! — Она подала воды, и директор трясущимися губами потянулся к стакану...

К концу года число церковноприходских школ в губернии возросло с 8 до 22, частично за счет свертывания начальных училищ в системе министерства народного просвещения. Архиерей, после одной из пышных рождественских служб в кафедральном соборе, в пастырском слове к прихожанам объявил, что сих, особо угодных всевышнему, школ в епархии через год будет уже 40.

Однако епархиальное начальство оказалось прижимистым. Церковные и монастыр-

ские капиталы старалось на устройство приходских школ не разменивать: взяло повадку вытряхивать деньги из земской кассы. Протесты Ульянова оставались без последствий.

* * *

Тот же 1884 год. В один из осенних вечеров, после служебного дня, Илья Николаевич, как обычно, сел почитать газеты. Напоследок взял в руки местную земскую. Издавалась «Симбирская земская газета» раз в неделю, была заполнена ведомственными материалами, и читать тут, в сущности, было нечего; держал ее Илья Николаевич для справок.

Раскрыл газету (это был № 415 за 21 октября), и в глаза бросилось одинокое объявление: «Продается сходно двухместная карета. Зад на рессорах». Это рассмешило Илью Николаевича. «Зад рессорный,— мысленно пошутил он,— а в голове что?»

Однако в газете оказалась и статья, да пространная, в одном номере не уместилась. Названа: «Церковноприходские школы». Вопрос злободневный, надо читать.

«Наконец сбылось давно ожидаемое всеми, кому дорога Россия, возвращение народной школы к ее первообразу... Церковь создавала и руководила народную школу. Так было сотни лет, так, даст бог, будет и на будущее время...»

Илья Николаевич поинтересовался, кто же это пишет: с большим апломбом, но не слишком грамотно? Авторской подписи не оказалось. Это могло лишь значить, что пози-

ция статьи разделяется господином Пазухиным, ответственным редактором газеты. А ведь он больше чем газетный редактор — Пазухин и в симбирском земстве первое лицо: председатель губернской земской управы... «Что же вы, земцы? — с горечью подумал Илья Николаевич.— Народными школами уже и не дорожите вовсе? От своего родного детища открещиваетесь?»

Отпала охота читать дальше. Но в тексте мелькнула фамилия Победоносцева. Держались упорные слухи, что именно он, Победоносцев, в прошлом профессор, а ныне первый в России царедворец, задумал насаждать церковноприходские школы, чтобы вытеснить начальные народные, подозрительные ему своим светским духом. А мнение Константина Петровича имело в правительстве вес окончательный.

В статье воскуривался Победоносцеву фимиам. А вот приведено и собственное его высказывание. Илья Николаевич заинтересовался.

«Настоящее время,— поучал Победоносцев,— время критики. Вся наука ушла в критику... Критика стала до крайности самонадеянною, считает все постижимым для себя... Ввиду таких-то крайностей критического направления в современной науке следует старательно оберегать в себе веру, как средоточное начало истины... Сильна народная вера! Поэтому, приступая учить народ, следует заботиться не столько о том, чтобы сообщить ему знания, сколько о том, чтобы возгревать

в нем эту веру, а средство к тому — в слове божием...»

Илья Николаевич тут же уличил сановитого профессора в противоречии. «Вера», «слово божие» — эти понятия и для него, Ульянова, священны. Но разве господь бог против труда людей? А развитие труда немыслимо без науки!

Между тем «Земская газета» от рассуждений общих перешла (№ 419 за 18 ноября) к местным симбирским делам.

«Несколько лет тому назад в одном инспекторском отчете было рассказано по поводу инспектирования одной из лучших сельских школ...»

«Эге, это обо мне! — И Илья Николаевич быстро пробежал глазами последующие строки, улыбнулся: — Да, да, припоминаю... О микроскопе речь!» Этот ценный прибор он приобрел как учебное пособие, сам же и демонстрировал его в школах, потому что не только для учеников, но и для самих сельских учителей микроскоп был в диковинку.

Одна из учениц после этого в сочинении написала:

«Когда мы смотрим простыми глазами, в капле воды ничего не видно, а когда посмотрим на нее в особый инструмент, называемый микроскоп, то увидим, что в капле воды есть змеи и гады».

Сочинение девочки-крестьянки было написано грамотно, мысли наивные, но изложены толково и самостоятельно, и Илья Николаевич, порадовавшись тому, что и женские

школы в губернии наконец-то пошли в нормальный рост, привел сочинение в ближайшем же своем годовом отчете как неплохой образец школьной работы.

Автор-аноним раскопал его и ударился в филиппику: «Скажите на милость, с какой целью было посвящать детей в таинства микроскопического мира? Вообразите положение мужика и бабы, родителей этой ученицы, когда она, с полным авторитетом, поведает, что они, глотая воду, глотают с нею разных гадов и змей! А инспектор доволен»,— язвит аноним и заключает: «Весьма понятно при подобных условиях нерасположение нашего народа к новой школе».

— Ложь! — Илья Николаевич едва удержался, чтобы не порвать газету.— Только на плечах мужиков да баб и держится наша новая народная школа! Семьдесят — восемьдесят копеек крестьянских в каждом школьном бюджетном рубле! А на пустое дело мужик гроша ломаного не даст! — И — в новом приливе гнева: — Пачкун, вот пачкун! Пакостник из-за угла! — Илья Николаевич почувствовал слабость. Лег на диван. Ему не хватало воздуха. Расстегнул воротник, закрыл глаза.

А пасквиль не выходил из головы: «И это вчерашние союзники — какое вероломство! И клевещут, и нелепо приписывают ему «рабское следование всем измышлениям новейшей педагогики».

«Вне всякого сомнения,— вещал сочинитель статьи,— церковноприходская школа не станет на этот путь ложного образования».

Илья Николаевич, отлежавшись, сел, потянулся, зевнул и, складывая газету, опять увидел объявление о продаже кареты. «У кареты, следственно, зад рессорный, благоустроенный, а в голове — неважно что. Не так ли и у иных господ сочинителей?»

Глаза его смеялись...

* *
*

Вот и святки. Осталась неделя до нового, 1885 года. В морозном воздухе плывет над городом колокольный звон, и вспугнутые с церковных куполов вороны, кружа и каркая, то тут, то там опускаются на крыши домов, усеивая белые снежные шапки как бы угольно-черными пороховинками. Днем народ устремляется к каруселям, к балаганам, на бойкую святочную ярмарку, где можно и дельное купить и бездумно полакомиться рожками, леденцами или маковками. Катаются с гор, а кто поденежнее,— подрядит татарскую тройку и, развалясь в пестрых от ковров санях, с гиком и свистом промчится по улицам города. А чуть стемнеет, на тротуарах, перед богатыми особняками, зажигают плошки, и огоньки их напоминают брошенные вдоль улиц мерцающие нитки жемчуга. В домах елки; выплясывают и ломаются на разные лады ряженые...

Угарного святочного веселья хватает на всю неделю. Но первый день нового года выглядит уже степенно.

Илья Николаевич с утра отстоял в соборе

новогоднюю архиерейскую службу, принял архипастырское благословение и только после этого, вздохнув, сел в санки. Высокое служебное положение обязывало его нанести визит губернатору, тому же архиерею, но уже в его покоях, а также всем губернским чиновникам равного с ним ранга, и к исходу дня он уже задыхался в своем генеральском мундире, испытывая крайнее неудобство от треуголки и шпаги.

Теперь он с наслаждением переодевался в домашнее. Сбросил с себя золоченое одеяние, а с ним и сделанная для визитов улыбка-маска как бы полетела туда же, в гардероб. Улыбнулся Илья Николаевич сам себе и, кажется, впервые за этот день душу свою почувствовал человеческую!

С дружески распахнутыми руками вышел в гостиную, где Мария Александровна уже принимала Валериана Никаноровича и Гертруду Карловну Назарьевых. Они пришли не с официальным визитом, а запросто: отношения между семьями давно уже скреплены чувствами искренней дружбы.

Дети, резвясь около елки, втянули гостей в хоровод. Потом с детьми остались Мария Александровна и Гертруда Карловна, а мужчины пошли в кабинет обменяться новостями.

Сели, улыбнулись друг другу... Но тут же и помрачнели: в мыслях у обоих — гонения, обрушившиеся на народные школы. Назарьев видел, как тяжко переживает эту напасть Илья Николаевич, и страдал за него, бессильный помочь. Зато, когда представился

случай, встал за друга горой. Пазухина, редактора «Земской газеты», так расчихвостил в его же кабинете, что тот дар речи потерял, только воду пил стакан за стаканом. И плевать ему, Назарьеву, что Пазухин — председатель губернской земской управы, а он всего лишь член уездной: пусть только попробует сделать пакость!

Илья Николаевич сегодня решительно ему не нравился своим видом. Продолжает худеть, лицо не только бледно, но появилась какая-то нездоровая дряблость... И Валериан Никанорович заколебался — говорить ли? Не лучше ли промолчать о новых кознях?

— Илья Николаевич,— сказал он,— отдохнуть бы вам! Не смею в крещенские морозы утащить вас в Назарьевку, я там сейчас, как медведь в снежной берлоге. Но дайте слово, что летом, даже еще весной, с первой песней соловья...

Ульянов, кажется, не слушал. От крыльев носа к кончикам губ глубокими бороздами пролегли морщины.

— Илья Николаевич! Ну, послушайте же, что я скажу! — И Назарьев продолжал: — Отдых отдыхом, но этого мало. Вам надо серьезно поправлять здоровье. Хорошо бы вам за границу. В Швейцарские Альпы. Вот мы с Гертрудой Карловной недавно совершили чудесный вояж. Богатырем вернетесь, Илья Николаевич, послушайтесь меня!

— Да, надо бы...— отозвался Ульянов, явно еще не выходя из своих дум.— Богатырского во мне маловато нынче. А меня, Вале-

риан Никанорович, знаете, что занимает в последнее время? Каретные зады.

Назарьев даже с кресла привстал.

— Как вы сказали?..— спросил он тревожным шепотом.

— Не беспокойтесь, Валериан Никанорович, я в своем уме. И именно поэтому не могу примириться с тем, что в нашей жизни все в большем числе случаев перетягивают каретные зады... Боже мой! — воскликнул он с тоской.— Придет ли времечко, когда мы научимся ценить головы и то, что в головах — светлый ум созидательный, а не зады, хотя бы и обрессоренные!

Илья Николаевич улыбнулся, казалось бы, совсем не к месту. Но просияли и глаза. С душевным подъемом он заговорил на любимую свою тему — об учительских съездах. Сейчас, в пору безвременья, съезды, по мысли Ульянова, должны были сыграть дополнительно новую, неоценимой важности роль. Надо сохранить кадры учителей народной школы, на выращивание которых положено полтора десятилетия; принять меры к сплочению учительства, чтобы оно выстояло, не дрогнуло перед испытаниями, не рассеялось кто куда; чтобы, когда жизнь отбросит в сторону победоносцевых — не вечны же они! — уже на другой день в народных школах начались бы нормальные уроки...

— Все это,— говорил Илья Николаевич,— мы можем прекрасно осуществлять через съезды. В наших руках гибкий общественный аппарат, к нему и начальство уже пригляде-

лось, да и мы ничем себя не скомпрометировали. Так что действовать и действовать!

— Да, да, конечно...— пробормотал Назарьев, чувствуя, что разговор приближается к критической точке. Но обратного хода уже не было.

— Кстати, Валериан Никанорович, вы не забыли, что в вашем Симбирском уезде учительский съезд пойдет первым в этом году? Вы, так сказать, открываете сезон, рекомендую исподволь уже готовиться.

Вот она, критическая точка. Именно о съезде Назарьев боялся заговорить. Но деваться некуда, надо отвечать.

— Илья Николаевич! — Он умоляюще поднял глаза.— Только вы не расстраивайтесь, прошу вас. Учительский съезд наш... Видимо, разрабатывается новое положение...

Ульянов потемнел и резким вопросом как бы вырвал у него внятный ответ.

— Запрещен?

— Да. Губернатор имеет указание.

Разговор прервался. Илья Николаевич прилег на диван, но не улежал; встал, зашагал по кабинету.

Тягостное, гнетущее молчание... В такие минуты мучительно хочется человеческого голоса, и Назарьев не выдержал, заговорил с негодованием о каких-то пакостниках; спохватился было, что это еще соль на раны Ильи Николаевича, да поздно. Ульянов потребовал полной ясности.

Назарьев брезгливо поморщился:

— Противно говорить, Илья Николаевич! Единственно, чтобы оградить вас от неожиданностей...— И сослался на письмо из Казани, от приятеля, чиновника канцелярии учебного округа: — «Крысы,— говорит,— у нас взялись за архивы и очень в этом усердствуют...» Пишет, разумеется, намеками,— добавил Назарьев,— но, насколько я понимаю, раскопали ваше давнее уведомление, которое по нынешнему времени весьма заинтересовало попечителя. Касается дело какого-то кружечного сбора... Не припоминаете?

Илья Николаевич задумчиво пощипывал бороду.

— А к чему обременять память, если издревле существует письменность? — И он извлек из книжного шкафа папку личного архива.

Вот и то, что нужно: ответ инспектора Ульянова на запрос попечителя округа от 23 февраля 1871 года за № 659.

В ту пору еще только начинала создаваться новая, на научных основах народная школа, но возникло затруднение: в казне для просвещения народа денег не нашлось. И вынуждены были энтузиасты изощряться, отыскивать новые источники средств.

А петербургская знать из серьезного дела устроила забаву. Придворные дамы (им ничего не стоило получить одобрение царя), порхая, устремились к царскосельской публике с кружками-копилками. Обворожительная улыбка — и: «Это на наших мужичков. Чтобы детей их учили грамоте. Пожертвуйте, пожалуйста!»

Гофмейстер граф Толстой, больше придворный кавалер, чем министр, приказал, чтобы дамский почин из царскосельских дворцов и парков был распространен по ведомству просвещения.

Вот и у инспектора Ульянова в руках эта циркулярная бумага. Не составляло труда понять, что затея с копилками-кружками — не от ума, а от праздности. Труднее глупости воспротивиться: циркуляр ссылался на мнение царя...

Но Илья Николаевич пожелал быть честным и написал попечителю: «Крестьяне... уже делают посильный взнос на содержание школ, и нельзя ожидать с их стороны пожертвований на тот же предмет. Скорее можно предположить, что крестьяне увеличат взнос... но только когда на деле увидят более успешный ход обучения своих детей. Нахожу кружечный сбор почти бесполезным в настоящее время».

Назарьев был смущен, встал и с чувством восхищения благородством и стойкостью Ульянова протянул к нему руки:

— Позвольте, Илья Николаевич, вас облобызать!

* *
*

В глубокой и непрестанной тревоге за здоровье мужа находилась Мария Александровна.

— Илюша,— говорила она,— скрепя сердце, но я примирилась с тем, что, прослужив двадцать пять лет, ты не пожелал выйти на пенсию, а только с еще большей горячностью

устремился в свои школьные дела. Но через несколько месяцев, в ноябре, исполняется твоей службе уже тридцать лет! Что у тебя в мыслях? Неужели и дальше намерен служить, отклоняя пенсию? Но ведь это при твоем пошатнувшемся здоровье самоистязание какое-то... Нет, я этого не вынесу!

Мария Александровна прикладывала к глазам кружевной платочек, отворачивалась от мужа, и плечи ее начинали вздрагивать...

Слезы жены всякий раз повергали Илью Николаевича в отчаяние.

— Прости, Машенька, родимая моя, не плачь, прости,— умолял он.— Каждая твоя слезинка прожигает меня каленым железом! Я как на казни...

Мария Александровна уже не плачет. Присев на подлокотник кресла, она ласково гладит голову мужа, перебирая пряди его волос, поредевшие, уже полные седины. Но говорит непримиримо:

— Опять эти многомесячные поездки, без отдыха, без правильного сна... А эти трактиры с ужасными щами! Пора, Илья, давно пора пощадить свое здоровье, сесть за домашний обеденный стол. Хотя бы к словам доктора прислушался!

— Маша, но я очень осторожен в трактирах. Больше всего чайком, чайком!..— пытался Илья Николаевич отшутиться и умолк под ироническим взглядом жены.

Мария Александровна, борясь с мужем за него самого, была беспощадна в своих доводах. Не было случая, чтобы она посетовала

мужу, что ей трудно в его частое и длительное отсутствие; дети взрослеют, уроки им задают все более сложные, а она подчас и помочь им не может.

— Илюша,— напомнила Мария Александровна мужу,— ведь университета я не кончала.

Илья Николаевич взволновался, расстроился.

— Маша, ты глубоко несправедлива по отношению к себе. К чему это самоунижение? Два сокола — Аня и Саша — выпущены нами с тобой из гнезда, недалек час — расправит крылья и третий, Володя, да и Оля с ним в паре! Велик труд, вложенный тобою в их воспитание. Ты лепила их характеры, повседневно и самоотреченно, ты воспитывала нашу шестерку в высоких понятиях нравственности, труда, служения народу как смыслу жизни...

Мария Александровна слабо улыбнулась:

— Илюша, только не подкладывай мне своих собственных трудов в воспитании детей. И вообще здесь разделение на «ты» и «я» неуместно. Воспитывали детей мы с тобой сообща и в полном согласии.

— Да иначе и быть не могло! — горячо подхватил Илья Николаевич.

Убеждая его уйти на пенсию, Мария Александровна говорила:

— Ты всех нас любишь, я знаю. Души не чаешь в детях. А пенсия заставит нас вполовину сократиться в расходах. Но не опасайся, все будет почти как прежде. Я уже пересоставила наш домашний бюджет. Пустим квварти-

рантов. Аня, Саша, Володя, Оля теперь будут только птицами залетными. А для нас с тобой да для Мити с Маняшей заглаза и полдома хватит...

Так развивался этот диалог, не легкий для супругов. Сохранить здоровье мужа, дать ему окрепнуть в тепле и уюте домашнего очага — единственное, к чему стремилась Мария Александровна на пороге близившегося серебряного юбилея их счастливого брака. А Илья Николаевич отвечал ей мысленно: «Друг мой, я не только потерял бы здоровье, но тут же и захирел бы и погиб, облачись я в домашний халат...»

* *
*

Володя выбежал из гимназии — шинель нараспашку. Нос к носу — надзиратель. Они теперь повсюду, эти соглядатаи,— в стенах гимназии, и около, и на улицах — как из-под земли вырастают. Проходу нет, особенно после этого досадного провала с тайной гимназической библиотекой. Уж на что надежный был парень — на квартире хранил запрещенное да и выдавал с оглядкой. Однако пронюхали жандармы. Налетели, разглядели, что за книжечки, и прикончили библиотеку... А было что почитать: четыреста номеров в жандармской описи получилось! Хоть хранитель-то этого богатства Вася Маненков отвертелся от тюрьмы: крестьянский паренек, да еще олухом царя небесного прикинулся,— ну что с такого взять? Выставили из полицейского участка. Избили, но освободили. Ведут след-

ствие, ищут, чьих это рук дело.

Володя из своих семиклассников подговорил нескольких верных друзей помочь пострадавшему.

— Но что можно сделать?

— К Назарьеву пойдем, делегацией. Он сам судья, знает законы и человек очень порядочный. Отзовется!

И Валериан Никанорович принял участие в мальчишке. Взял Васю Маненкова к себе домой, устроил в школу...

Володя, чем-то крайне взволнованный, выбежал из гимназии и тут же был остановлен надзирателем:

— Ульянов! Ко мне!

Володя остановился. Шумно дышал, глядя в свирепое лицо и стараясь не обдать его морозным паром.

— Что у вас за вид? — закричал надзиратель.— Гимназист вы или гуляка, или, может быть,— бунтовщик?

Юноша побледнел. В пятнадцать лет человек болезненно самолюбив, а тут эта разухабистая грубость: все равно что розги — только хлещут по душе.

Собрав все свое самообладание, Володя сказал вежливо:

— Извините, господин надзиратель, не могу судить о сходстве: бунтовщиков мне видать не случалось...

Надзиратель рявкнул:

— Не рассуждать! Руки по швам!

И полуодетый ослушник вынужден был стоять неподвижно, коченея от мороза.

Наконец мера воспитания была признана, видимо, достаточной.

— Соблаговолите...— надзиратель даже проявил корректность,—...застегнуться по форме. А фуражку поднимите с уха... Вот так. Идите, Ульянов.

Внезапная встреча с надзирателем и вся эта встряска рассеяли юношу, как бы даже успокоили в нем душевное смятение, которое так мучительно всегда переживать... Но стоило Володе свернуть за угол и там удостовериться, что взгляд надзирателя, как пика, больше не упирается ему в спину, как ему вновь стало жарко от распалившегося в нем гнева, опять хоть расстегивай шинель.

Собрали гимназистов в актовый зал. Директор Керенский, не в сюртуке, как обычно, а в мундире, что подчеркивало важность предстоящего акта, строго обошел ряды учащихся, вглядываясь в каждого. Потом объявил, что из Петербурга, снизойдя к религиозно-нравственным потребностям юношества, прибыл ученый богослов, член высочайше утвержденного общества для распространения «святого писания» в России. Директор назвал фамилию лектора, но она пролетела незамеченной.

Зато, когда столичный гость, улыбаясь и кланяясь по сторонам, придерживая на животе рясу, чтобы не споткнуться, засеменил по живому коридору из гимназистов, те принялись тянуть носами. «Да от него не ладаном пахнет,— последовал вывод,— а духами! Модный попик всего лишь, а директор чуть не в апостолы его зачислил!»

Богослов взошел на приготовленную для него кафедру, откинул со лба длинные волосы, притронулся к косо висевшему кресту на груди и потянул за цепь, выравнивая его. Затем, обернувшись к киоту, мерцавшему золотом в углу зала, истово перекрестился и начал:

— Чада мои! Бог — все для человека. Раскройте Библию, и в апостольском поучении от Иоанна вы найдете слова Иисуса Христа: «Аз есмь путь, истина и жизнь». Господь бог — единственный источник света и премудрости, он открыл божественную истину младенцам, просветил галилейских рыбарей, соделав их ловцами человеков, победившими своим учением весь древний ученый мир, он силен просветить, умудрить и вас в учебных ваших трудах.

Гимназисты чинно молчали, по опыту зная, что если тебя воспитывают религиозно-нравственно, не смей зевнуть, даже и сквозь зубы: заработаешь карцер. И еще: не шарь глазами по сторонам и не заглядывай на потолок, будто вдруг заинтересовался завитушками карниза. Не вовремя это, боком тебе выйдут завитушки. Стой смирно и, если хочешь быть на хорошем счету у начальства, упрись взором в затылок впереди стоящего, в самое там гнездышко, и вспоминай что-нибудь приятное для одухотворения лица.

Володя Ульянов стоял в шеренге товарищей. Посторонними мыслями не развлекался, а слушал богослова и анализировал его речь. И когда тот заявил, что христианство победило своим учением весь древний ученый мир,

возразил мысленно: «А вот и неправда, святой отец! Что сказал Тургенев, увидев остатки недавно раскопанного в Малой Азии Пергамского храма, его античные скульптуры? — И прочитал на память письмо Ивана Сергеевича из «Вестника Европы»: «...красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности, стройных до музыки... Да, это мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам... Как я счастлив, что не умер, не дожив до последних впечатлений, что я видел все это!» Где ж тут, святой отец, победа христианства? Искусству, а не Иисусу поклонился перед смертью великий наш Тургенев. В его словах — гимн прекрасному в жизни, которое только и бессмертно!»

Но что это — ученый богослов вдруг заговорил о Гоголе. Любопытно, при чем тут евангелист Иоанн и прочее такое... Надо послушать!

В голосе столичного проповедника даже слеза умиления появилась, умело наигранная, когда он изрек:

— Глубоко прав Николай Васильевич Гоголь, писатель-христианин, верный сын церкви христовой...

Володя мысленно продлил тираду: «...создавший симпатичнейших чертей и ведьм в своих «Вечерах на хуторе...»» — Но тут же умолк, обескураженный. Проповедник читал текст из Гоголя:

— «...По мне безумна и мысль ввести ка-

кое-нибудь нововведение в России, минуя нашу церковь, не испросив у нее на то благословения... Вот мы постоянно повторяем слово просвещение... Слова этого нет ни на каком языке; оно только у нас... Оно взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие... Свет христов просвещает всех!» — Тут богослов торжествующе воздел руку с трехперстно сложенными пальцами и широкими взмахами осенил крестным знамением гимназистов.

Володя замер, в ужасе ожидая, что поп ляпнет: мол, и благословение на головы ваши ниспосылает Гоголь... Лучше бы потолок на головы рухнул, чем такое услышать! Потрясенный бесстыдством ученого попа, Володя твердил: «Это же надругательство над Гоголем! Все равно, что на сияющее нам солнце плюнуть! «Мертвые души», «Ревизор» — это же хребет русской литературы, вот что такое Гоголь! А не это жалкое бормотание несчастного Николая Васильевича на грани безумия... Как не стыдно, церковный отец, как не стыдно!..»

У толпы гимназистов — лицо сфинкса. Но проповедник, как видно, почувствовал, что его расправа с Гоголем не встречает поддержки. Он прокашлялся, затем в упор, осуждающим взглядом, посмотрел на ближайших к нему гимназистов и размеренно прочитал заложенную в молитвеннике справку:

— «Переписка с друзьями». Гоголь, письмо к Василию Андреевичу Жуковскому, том IV, страницы 76—79. Мысли этого знаменатель-

ного письма для удобства слушателей изложены нами в свободной передаче... Аминь.

Поп стал еще более гнусен Володе. «Иезуит! У него и охранная грамота при себе... Значит, понимает, что делает пакости?.. Иезуит, иезуит!»

Едва сдерживаясь, чтобы не прокричать это вслух в толпе разбиравших шинели гимназистов, Володя, не успев даже толком одеться, выскочил на улицу.

Тут его и остановил надзиратель. На морозе запальчивость первых мгновений погасла, но он почувствовал еще большую потребность говорить, кричать, протестовать против гнусности увиденного и услышанного. Спешил домой, то широко шагая, то от нетерпения делая перебежки...

И вот он в кабинете отца. Но отец не один, у него какой-то педагог. Занимаются и беседуют. Едва открыв дверь, Володя услышал обрывок сказанного со вздохом отцом: «... плохо, плохо мои дети посещают церковь. Даже в службах не разбираются...»

Володя не успел даже поздороваться с гостем — отшатнулся, как от толчка в грудь, и дверь перед собой захлопнул.

— Сынок,— услышал он из кабинета,— скажи, чтобы нам дали чаю, и оставь нас пока вдвоем.

«Нет,— упрямо подумал юноша,— не оставлю. Разговор ваш и меня касается!» — И он сам внес чай. Поставил поднос со стаканами на стол и поклонился незнакомцу. А тот, с улыбкой поглядев на крепыша гимназиста,

обратился к Илье Николаевичу: «Сечь, сечь надо!» И это было сказано не в шутку, а с каким-то хищным удовольствием.

Володя вышел из кабинета, потом во двор, забежал в уголок к сараю. Здесь он расстегнул на мундире верхние пуговицы, сорвал с шеи крест и бросил его на землю.

Бегом — обратно на крыльцо. Остановился, повернулся лицом к саду, а там деревья, как в зимней сказке. Раскинул руки и прокричал: «О-го-го-го-го-о-оо!» От переполнившего его счастья, казалось ему, грудь разорвется! Ликуя, недоумевал: «Такой пустяковый крестик, почти невесомый, а сбросил его — и гнетущая тяжесть свалилась с души...» И он вновь и вновь раскидывал руки, возглашая: «Какой простор перед глазами! Какая на душе свобода!»

* *
*

Друзья не допустили, чтобы Илья Николаевич остался одиноким в своих несчастьях.

К нему шли единомышленники его и соратники, даже те, от которых он не ожидал сочувствия.

Счастливый тем, что происходит в его доме, Илья Николаевич приговаривал:

— Вот это дружина! Силушка по жилушкам переливается... Только спросу на нас не стало!

Друзья вспоминали о первых шагах симбирского инспектора. В передаче добрых уст эти шаги порой неумеренно превозносились. Илья Николаевич тотчас требовал пардону и,

посмеиваясь, цитировал Салтыкова-Щедрина: «Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать!»

Но в одном сходились все, против чего и Илья Николаевич не возражал: в выборе и определении на должность новых учителей он проявлял смелость, по устоявшимся понятиям того времени, неслыханную.

Вот пример с Василием Андреевичем Калашниковым. В год приезда Ильи Николаевича в Симбирск Калашников шестнадцатилетним парнишкой кончал курс педагогической подготовки при местном уездном училище. О самостоятельной должности и помышлять не смел. Но Илья Николаевич, зоркий на людей, уследил, что Вася похаживает в общежитие к чувашам, да не скуки ради, а с книгами под мышкой, с аспидной доской и грифелем; по доброй своей охоте помогает ребятам готовить уроки, да с явным успехом, даром, что половина учеников много старше своего репетитора.

Ульянов взял бескорыстного просветителя на заметку.

Между тем Иван Яковлевич Яковлев, прежде гимназист, а теперь студент Казанского университета, устроив для сородичей общежитие, загорелся мыслью развернуть его в чувашскую школу. Илья Николаевич горячо поддержал эту идею, и оба сошлись на том, что учителем к чувашам надо ставить Васю Калашникова. «Мальчишку?» — возмутились в земстве. Хотели уже отказать в деньгах, но инспектор Ульянов своим авторитетом спас положение. И

денег дали, и утвердили Калашникова в должности.

Уже через год инспектор Ульянов писал попечителю округа: «...упомянутая школа под руководством Калашникова приобретает доверие как земства, так и крестьян из чуваш... Желание самих крестьян чуваш отдавать своих детей в обучение русской грамоте весьма знаменательно, тем более что прежде не только в губернский город, но даже и в ближайшую сельскую школу они неохотно отдавали своих детей».

И вот уже Калашников — учитель-руководитель Симбирской чувашской школы, с жалованьем 300 рублей в год, весьма по тому времени солидным, тем более для восемнадцатилетнего юноши.

Впоследствии Василий Андреевич Калашников, по просьбе Ильи Николаевича, подготовил для поступления в гимназию старшую дочь Анну, затем Сашу, а когда подрос Володя, частично занимался и с ним.

— Сказка какая-то...— вдруг с горькой усмешкой сказал Илья Николаевич.— Открывали, какие хотели, школы, ставили, кого хотели, учителями... Просто воображения не хватает, чтобы представить те благословенные времена!

Он встал, прошелся в волнении, но тотчас был замечен из кружка дам. Блеснуло пенсне — это Прушакевич сделала движение. Склонив по привычке чуть-чуть набок свою красивую голову, Вера Павловна несколько мгновений наблюдала за своим старым другом и наставником. Ульянов сделался учителем, потому что не

мог им не быть; она также. Для него в этом — смысл жизни; для нее — тоже.

Вместе с нею гимназию кончила Вера Васильевна Кашкадамова, но только через пять лет подруги встретились на педагогическом поприще: Кашкадамову заинтересовали Высшие женские курсы в Казани, где она завершила образование.

Обе стали выдающимися педагогами-ульяновцами.

Вера Павловна Прушакевич, приняв восьмилетнего Володю из рук предварительно занимавшихся с ним учителей — Калашникова и Ивана Николаевича Николаева, подготовила мальчика к поступлению, минуя приготовительный, в первый класс гимназии.

Теперь Володя — старшеклассник, мысли его обращены к университету. Но, встречаясь с Верой Павловной, он всякий раз ловит себя на том, что готов броситься к ней на шею, как, бывало, в детстве, когда он спозаранку бегал к ней «на часок» в училище, еще безлюдное, не успевшее наполниться шумом и гамом, и они уединялись в какой-нибудь комнате; Володя доставал из сумки «Родное слово» Ушинского, арифметику Евтушевского, тетрадку, грифельную доску. А Вера Павловна, кудесница, из всех этих в общем скучных вещей извлекала столько интересного, что вместо двух задач ему хотелось решить пять и шесть; рассказав из «Вокруг да около», что он сам видит, норовил тут же выучить наизусть статью «Одежда» или «Посуда». Вера Павловна, смеясь, умеряла его пыл и говорила: «А ведь мы еще не рисовали.

У вас в саду яблони, вишни, сливы...» У мальчика загорались глаза: «Я, знаете, которую нарисую?..»

Но в школьном коридоре уже гремит колокольчик. Вера Павловна поднимается, ей пора в класс, к ученицам. Володя спешит собрать свою сумку, но как ему не хочется уходить!

«Как бы хорошо,— порой думал Володя,— поговорить с ней, не поддаваясь впечатлениям детства, по-взрослому. «Вера Павловна, я стал атеистом!» Интересно, что бы она на это... Ходит в церковь, говеет, постится. Может быть, только по обязанности школьного учителя? А если... Нет, не следует вовлекать ее в эти разговоры... Такого друга — и оторвать от сердца?.. Нет и нет!»

Между тем Вера Павловна, наблюдая в гостиной за Ильей Николаевичем, обнаружила, что он окончательно замкнулся в себе: среди людей, даже вступает в разговоры, а сам в душевном одиночестве. Обратила на это внимание сидевшей рядом Кашкадамовой, и подруги тут же решили взяться за хозяина, да с двух сторон сразу.

— Илья Николаевич, нам без вас скучно!

Подошел:

— Охотно присоединяюсь к компании. Только, увы...— он поклонился и с извиняющейся улыбкой,— ...даже две Веры не в силах поднять мою поколебавшуюся веру в человеческую добродетель.

— А это мы еще посмотрим! — сказала Кашкадамова.

— Это мы еще увидим! — в тон ей объявила Прушакевич, закуривая папиросу.

— Сажусь в цветник,— покорно согласился Илья Николаевич.— На исправление.

Прушакевич негромко, с чувством произнесла нараспев:

— «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай...»

Кашкадамова тотчас подхватила:

— «Человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай...»

Что-то дрогнуло в лице Ильи Николаевича. Эти женщины своим чутким прикосновением к его душевным струнам едва не заставили его расплакаться: вот был бы конфуз... Однако вызов сделан, и, как в народных играх, надо без задержки отвечать. Илья Николаевич и откликнулся:

— «С ними ты рожден природою — возлелей их, сохрани! Братством, Равенством, Свободою называются они».

Кашкадамова и Прушакевич, втягивая Илью Николаевича в беседу, принялись вспоминать свои гимназические годы. С увлечением поведали, что «Песня Еремушке» в их пору владела умами девочек, и не только старшеклассниц. Песня вспыхивала то в коридорах, то в рекреационном зале, то в гардеробной. Достаточно было, чтобы чей-то голос возгласил горячую, дух захватывающую строфу из «Песни», как возникал тотчас хор. Он гремел на все голоса, а когда классная дама по прозвищу Баржа с разъяренным и испуганным лицом подоспевала, чтобы пресечь, как говорилось, «воз-

мутительное бесчинство», никого уже на месте не оказывалось.

— Для нас, для молодежи,— говорили бывшие гимназистки,— «Песня Еремушке» была откровением в жизни, гимном священным!

Илья Николаевич слушал все это затаив дыхание, с выражением восторга, как бы даже помолодевший, и вдруг, легко вскочив, со словами: «Простите, я сейчас» — быстро вышел из гостиной и так же быстро возвратился. В руках у него была тетрадь в твердых корочках с медными, для прочности, уголками.

Илья Николаевич раскрыл тетрадь на одной из первых страниц, где значилось: «Современник», 1859, № 9. Н. А. Некрасов, «Песня Еремушке», и предъявил тетрадь дамам.

— Я знаю ваш почерк,— сказала Прушакевич,— он четок, красив, но здесь в каллиграфии вы превзошли себя.

— Вдохновило содержание,— застенчиво отозвался Илья Николаевич.

— А это что за автографы под «Песней»? — заинтересовалась Кашкадамова.— «Саша. 1877». «Аня. 1877». «Володя. 1881». «Оля. 1883». «Митя. 1885».

Илья Николаевич улыбнулся:

— Мой кучер Дунин как-то сказал об одиннадцатилетнем Саше: «Парень в разум взошел». Вот тут я и открыл мальчику высокий нравственный идеал «Песни Еремушке». А он впервые в жизни с удовольствием расписался. В разное время и другие мои дети «входили в разум». Отсюда и все эти автографы.

Женщины заинтересовались тетрадкой Ильи Николаевича — многолетней свидетельницей его дум, вкусов и привязанностей — и с его согласия стали ее перелистывать.

Но открылась дверь. На пороге гостиной Мария Александровна, как всегда, в темном, строго изящном платье.

— Господа, милости прошу в столовую. Самовар на столе.

* *
*

Отец и Володя сидели за шахматами.

Трудное объяснение позади. Володя, счастливый обретенной духовной свободой, смело и с достоинством объявил отцу, что он порвал с религией.

Отец потемнел в лице. Володя опустил голову и зажмурился: ведь это страшно — услышать, как тебя проклинают... И вдруг...

— Родной мой...— Голос отца дрогнул. Илья Николаевич был обескуражен глубиной греховного падения сына и в то же время не мог не преклониться перед мужеством его честной натуры.— Родной мой, вера в бога — дело совести каждого. Свободной совести. Понимаю, тебе нелегко далось то страшное, что ты совершил, сбросив с себя крест христов. Во мне все дрогнуло, сын мой, все, все, кроме единственного: отцовской моей любви к тебе. И чувствую, сейчас полюбил тебя, кажется, еще крепче, чем до сих пор... Дай я обниму тебя.

Володя, ошеломленный, просиявший, бросился в объятия к отцу и задохнулся от сча-

стья. Шумно набрал воздуху и снова приник к щекочущей и такой бесконечно милой бороде...

В шахматах Володя преуспевал. Частенько уже давал мат отцу, и Илья Николаевич как-то, в уважение к успехам сына, сказал:

— Полагаю, еще немного, и тебе будет полезно сразиться с Ильиным. Познакомлю тебя с нашим симбирским чемпионом. Заметь, он ученик Чигорина.

Сегодня игра началась с веселого замечания юного партнера:

— Отец, может быть, дать тебе фору?

Илья Николаевич, как показалось Володе, не понял его или не расслышал. Взгляд отсутствующий, а когда Илья Николаевич сделал ход, Володя, встревожившись, тихонько указал ему:

— Ты ошибся, отец. Пешкой пошел, как конем.

Но Илья Николаевич и хода не исправил. Сказал страдальчески:

— Новое несчастье, Володя. Запрещен Ушинский. Приказ Делянова: «Изъять из употребления в школах и сжечь».

Юноша ахнул, изумленный:

— «Родное слово»? Да что они, с ума сошли?

Это их домашняя книга. Когда подрастающему в семье ребенку наступало время учиться, отец раскрывал перед ним «Родное слово». Многократно за время своей верной службы подклеенный и подшитый, учебник-ветеран хранится у отца в шкафу.

«Родное слово» было у Ильи Николаевича

во всех школах; этот учебник позволял расширять кругозор учащихся за жесткие рамки казенной учебной программы.

В силу своих исключительных педагогических качеств «Родное слово» как бы вросло в быт каждой семьи; изгнанный Деляновым из школ, учебник не исчез из обихода; больше того, издатели продолжали выпускать его все новыми и новыми тиражами, пока наконец под давлением общественности министерство не восстановило «Родное слово» в правах. Но случилось это, увы, лишь через 15 лет. Илья Николаевич Ульянов уже не мог этому порадоваться...

* *
*

Директор
народных училищ
Симбирской губернии
30 октября 1885 г.
№ 796

Его превосходительству
господину
Управляющему
Казанским Учебным округом

11 ноября сего года окончится срок первого пятилетия, на который я был оставлен на службе по выслуге мною 25 лет... Имею честь покорнейше просить Вашего ходатайства об оставлении меня вновь на службе на второе пятилетие.

Директор народных училищ
И. Ульянов

На ходатайстве — резолюция, бездушная и циничная: «Представить к оставлению до 1 июля 1887 г.». Попечитель согласился потерпеть Ульянова на службе лишь еще полтора года...

Анна Ильинична вспоминает:

«В декабре 1885 года, будучи на третьем курсе, я приехала опять на рождественские каникулы домой, в Симбирск. В Сызрани я съехалась с отцом, возвращавшимся с очередной поездки по губернии. Помню, что отец произвел на меня сразу впечатление сильно постаревшего, заметно более слабого, чем осенью... Помню также, что и настроение его было какое-то подавленное, и он с горем рассказывал мне, что у правительства теперь тенденция строить церковноприходские школы, заменять ими земские. Это означало сведение насмарку дела всей его жизни. Я только позже поняла, как тягостно переживалось это отцом, как ускорило для него роковую развязку».

Скончался Илья Николаевич Ульянов 12 января 1886 года, работая над составлением годового отчета. Приехавший врач определил кровоизлияние в мозг. Было Илье Николаевичу от роду неполных 55 лет.

«...Живо запомнилась мне Мария Александровна, бледная, спокойная, без слез, без жалоб стоящая у гроба» (В. В. Кашкадамова).

К новому, 1886 году Илья Николаевич был пожалован одной из высших наград империи — орденом Станислава 1-й степени. Знак ордена — крупная сияющая звезда на левой стороне груди и широкая муаровая лента через плечо...

Несколько строк из обширного некролога, опубликованного попечителем в циркуляре по Казанскому учебному округу:

«...Все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, г. вице-губернатор, директор и многие учителя гимназии, кадетского корпуса и духовной семинарии и все чтители памяти покойного (а кто в Симбирске не знал и не уважал его) и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного. Высшие лица симбирского духовенства... совершили краткую литию. Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями...»

В журнале «Новь» (уже независимо от попечителя округа) было сказано: «Он очень много потрудился на пользу народного образования, поставив его как в Симбирске, так и в губернии едва ли не лучше, чем оно поставлено в других местностях России».



Дом Ульяновых опустел: никого не видно, никого не слышно... Володя, мучаясь тоской, бесцельно бродил по комнатам. На рояле среди нот что-то блеснуло. Протянул руку — тетрадь отца с медными уголками на твердых корках. «Как она здесь оказалась?» И вспомнил: отец принес тетрадь в гостиную и показывал Вере Павловне и Вере Васильевне.

Володя раскрыл тетрадь и увидел последнюю в ней запись: «Aspera ad astra». «Через тернии к звездам»,— перевел Володя с латинского.

22 коп.

